



Луи Мортимера-Терно

**История террора
1792-1794 гг. Том
второй**

Луи Мортимера-Терно

**История террора
1792-1794 гг. Том второй**

«Автор»

2026

Мортимера-Терно Л.

История террора 1792-1794 гг. Том второй / Л. Мортимера-Терно — «Автор», 2026

Второй том фундаментального труда французского историка Луи Мортимера-Терно «История Террора 1792–1794» охватывает события с конца июня по 10 августа 1792 года: отстранение мэра Парижа Петиона, прибытие федератов, нарастание кризиса конституционной монархии, подготовку и осуществление восстания 10 августа, падение королевской власти. Опираясь на огромный массив архивных документов — протоколы секций, письма, свидетельства очевидцев, — автор критически пересматривает официальную версию событий. Он показывает, что «единодушное восстание» секций было во многом фикцией, полномочия повстанческой коммуны — результатом подлогов, а дворец Тюильри не был взят штурмом, но оставлен по приказу Людовика XVI. Книга сочетает научную строгость с драматизмом повествования и впервые публикуется на русском языке.

© Мортимера-Терно Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Предисловие	5
Книга IV. — Отстранение мэра Парижа.	9
Примечания:	33
Книга V. — Федераты.	38
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Луи Мортимера-Терно

История террора 1792-1794 гг. Том второй

Предисловие

Настоящее издание представляет собой второй том фундаментального труда Луи Мортимера-Терно «История Террора 1792–1794», впервые опубликованного в Париже в 1862–1881 годах издательством «Мишель Леви, братья». Автор — член Института Франции, историк и политический деятель — посвятил более двадцати лет жизни сбору и анализу архивных материалов, относящихся к одному из самых драматических периодов французской истории. Второй том охватывает события с конца июня по 10 августа 1792 года: отстранение мэра Парижа Петиона, прибытие федератов, нарастание конфликта между Законодательным собранием и королевской властью, подготовку и осуществление восстания 10 августа, падение монархии и первые шаги новой, постреволюционной власти.

О переводах на другие языки

Насколько нам известно, полного перевода труда Мортимера-Терно на русский язык до настоящего времени не существовало. Равным образом отсутствуют и полные переводы на английский, немецкий и итальянский языки. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, объём исследования чрезвычайно велик: только второй том содержит несколько сотен страниц основного текста и обширнейший документальный аппарат, включающий сотни архивных документов, протоколов, писем и свидетельств очевидцев. Во-вторых, в силу своей узкой специализации и чрезвычайной детализированности труд всегда был адресован в первую очередь профессиональным историкам, а не широкой публике. В-третьих, в советский период интерес к немарксистской историографии Французской революции, особенно к авторам, придерживавшимся умеренно-либеральных позиций, был существенно ограничен идеологическими рамками, что делало перевод такого рода сочинения маловероятным. Настоящий перевод, таким образом, восполняет существенную лакуну в русскоязычной исторической литературе о Французской революции и впервые даёт отечественному читателю возможность ознакомиться с одним из наиболее значительных произведений французской историографии XIX века.

Период, освещённый во втором томе, в трудах других авторов

Период с конца июня по 10 августа 1792 года — время крушения конституционной монархии и перехода революции в новую, радикальную фазу — привлекал внимание многих историков. Наиболее значительные различия в трактовке событий касаются оценки восстания 10 августа, роли парижских секций, поведения короля и степени «народности» переворота.

Классическая либеральная историография, представленная такими авторами, как Франсуа Минье и Адольф Тьер, рассматривала 10 августа как неизбежное следствие вероломства двора и несостоятельности конституционной монархии. Для Минье это было закономерное и в целом оправданное движение народа, покончившее с монархией, которая сама себя скомпрометировала. Тьер, писавший в период Июльской монархии, сочетал признание исторической необходимости переворота с умеренным осуждением насилия, подчёркивая, что конституционалисты, пытавшиеся удержать события в правовых рамках, были искренни в своих намерениях, но бессильны перед напором масс.

Иную позицию занимали республиканцы радикального толка и социалисты. Жюль Мишле и Луи Блан рассматривали 10 августа как один из величайших дней революции, момент подлинного народного суверенитета. Луи Блан в своей многотомной «Истории Французской революции» особенно акцентировал роль парижских секций, предместий и «народа» в сверже-

нии монархии, изображая восстание как стихийное, но организованное движение угнетённых против двора, изменившего нации. Альфонс де Ламартин в «Истории жирондистов» придал событиям драматическую, почти литературную форму, представив 10 августа как столкновение героической, но политически наивной Жиронды с монтаньярской силой улицы.

Существенно отличается от этих авторов и консервативная историография. Ипполит Тэн в работе «Происхождение современной Франции» трактовал восстание 10 августа как торжество анархии, уничтожившее конституционную монархию, которая, по его мнению, была последней легальной преградой на пути к якобинскому террору. Для Тэна восстание 10 августа — это не столько народное движение, сколько насильственный захват власти узкой группой заговорщиков, опиравшихся на организованное меньшинство секций. Эта точка зрения в определённой мере перекликается с концепцией Мортимера-Терно, который также подчёркивает, что так называемое «единодушие» секций было в значительной степени фикцией, а «полномочия» комиссаров повстанческой коммуны — результатом подлогов, подтасовок и прямого насилия.

Наконец, новейшая историография (Франсуа Фюре, Дени Рише, Мишель Вовель и другие) внесла в картину событий существенные коррективы. Фюре и Рише в «Французской революции» отказались от представления о 10 августа как о спонтанном народном порыве, показав его как тщательно подготовленный переворот, осуществлённый парижскими политическими элитами при пассивной или колеблющейся поддержке части населения. Мишель Вовель, напротив, сохраняет акцент на народном движении, но увязывает его с социальной историей и процессами радикализации революционного процесса.

Главное расхождение Мортимера-Терно с большинством предшественников и современников состоит в его категорическом несогласии с официальной версией событий, выработанной самими победителями 10 августа и закреплённой в протоколах повстанческой коммуны. Он доказывает, что: 1) «единодушное восстание сорока восьми секций» — миф, поскольку значительная часть секций не поддерживала восстание или прямо осуждала его; 2) «полномочия» комиссаров секций были в большинстве случаев сфабрикованы постфактум; 3) дворец Тюильри не был взят героическим штурмом, а был оставлен по приказу Людовика XVI, отдавшего распоряжение швейцарцам прекратить огонь и отойти; 4) число жертв со стороны восставших было несравненно меньшим, чем утверждала легенда, — не тысячи, а около ста убитых и шестидесяти тяжелораненых. Эти выводы, основанные на скрупулёзном анализе архивных материалов, в том числе протоколов секций, создают существенно иную картину событий, чем та, что господствовала в историографии вплоть до конца XX века.

Период 10 августа 1792 года в советской и российской историографии

В советской историографии события 10 августа 1792 года рассматривались в рамках марксистской концепции Французской революции как классической буржуазной революции, прошедшей через сменяющие друг друга этапы — от либерального к радикальному. Восстание 10 августа трактовалось как закономерный рубеж, на котором «народ» отстранил от власти монархию и открыл путь к установлению республики. В этом смысле советские историки (А. З. Манфред, В. Г. Ревуненков, А. В. Адо, Н. И. Кареев, Е. В. Тарле) наследовали скорее традицию Мишле и Луи Блана, нежели критическую линию Тэна или Мортимера-Терно.

Для советской историографии было характерно подчёркивать народный, массовый характер восстания 10 августа, участие санкюлотов и плебейства, роль секций как органов революционной самостоятельности масс. При этом события рассматривались сквозь призму классовой борьбы: с одной стороны — двор, фельяны и «крупная буржуазия», с другой — народные массы, жирондисты и монтаньяры. Само восстание изображалось как «высшая точка революционной инициативы масс», как «стихийное народное движение», которое покончило с монархией и открыло новый, республиканский этап революции.

Важной особенностью советской версии было и то, что она практически не опиралась на подробности, известные Мортимеру-Терно. Советские авторы, как правило, пользовались общими схемами, восходившими к Жоресу и французским марксистам, и не углублялись в вопрос о том, насколько «полномочия» повстанческой коммуны соответствовали действительной воле секций, или о том, каким именно образом происходило овладение дворцом. Критика Мортимером-Терно официальной версии событий почти не принималась во внимание, а сам он упоминался в основном как историк, стоявший на позициях либерального антиклерикализма и не поднявшийся до подлинно научного, классового анализа революции.

В постсоветской российской историографии интерес к Французской революции в целом сохраняется, однако специальных монографических исследований, посвящённых именно событиям 10 августа 1792 года, практически нет. В учебной и обобщающей литературе события излагаются, как правило, в традиционной канве: нарастание кризиса монархии, неудачная попытка бегства короля, война, народное восстание 10 августа, свержение монархии, созыв Конвента и провозглашение республики. Влияние критической школы Мортимера-Терно и близких к нему авторов остаётся в русскоязычной традиции минимальным.

Таким образом, публикация русского перевода второго тома «Истории Террора» Луи Мортимера-Терно представляет собой не только библиографическое событие, но и важный шаг к расширению историографического кругозора отечественного читателя. Впервые на русском языке становится доступным труд, который на протяжении полутора столетий остаётся одним из наиболее документированных и критических исследований событий, приведших к падению французской монархии и установлению республики. Автор не просто пересказывает события, он разбирает механизм революционного насилия, показывает, каким образом легальные формы были использованы для нелегального захвата власти и как создавалась легенда о «народном восстании». Именно эта критическая перспектива, подкреплённая огромным архивным материалом, делает труд Мортимера-Терно особенно ценным для современного читателя, живущего в эпоху, когда вопросы о соотношении законности, народного суверенитета и насилия вновь приобретают остроту.

Что касается **перевода на русский язык**, то его характеристика может быть представлена следующим образом:

Характеристика русского перевода.

Настоящий перевод второго тома «Истории Террора» Луи Мортимера-Терно выполнен впервые и предназначен для восполнения существенного пробела в русскоязычной историографии Французской революции. Поскольку полных переводов этого фундаментального труда на русский язык ранее не существовало, как не существует их и на других европейских языках, перед переводчиком стояла задача не только передать содержание, но и адекватно воспроизвести сложную стилистическую и терминологическую структуру оригинала.

Перевод выполнен с установкой на **точность и историческую достоверность**. Французский текст Мортимера-Терно отличается высокой плотностью изложения, насыщенностью фактическим материалом, цитатами из протоколов, писем и речей, а также характерной для французской историографии XIX века риторической приподнятостью. При передаче на русский язык приоритет отдавался сохранению смысловой полноты и логической связности авторского повествования. Вместе с тем переводчик стремился, насколько это возможно, воспроизвести и стилистические особенности оригинала — его торжественность в описании драматических сцен, иронию в характеристиках политических деятелей, публицистическую остроту авторских отступлений.

Особого внимания потребовала **передача исторических терминов и реалий**. В тексте постоянно встречаются названия органов власти и должностей эпохи Революции: *procureur-général-syndic, directoire du département, commune, section, corps législatif, garde nationale, état-major, fédérés, liste civile*. В переводе они передаются устоявшимися в русской исторической тра-

диции эквивалентами — «генеральный прокурор-синдик», «директория департамента», «коммуна», «секция», «Законодательный корпус», «национальная гвардия», «штаб», «федераты», «гражданский лист». Такой подход позволяет сохранить терминологическую преемственность с отечественной научной литературой о Французской революции и облегчает читателю ориентирование в материале. В тех случаях, когда термин не имеет устоявшегося русского соответствия или когда автор использует его в особом значении, перевод сопровождается пояснениями в примечаниях.

Значительную сложность представляла передача **цитируемых документов**, прежде всего протоколов секций, постановлений муниципалитета, писем и речей. Эти документы написаны канцелярским или публицистическим языком конца XVIII века, нередко тяжеловесным и запутанным. При их переводе сохранялись особенности синтаксиса и лексики, позволяющие ощутить стилистику эпохи, однако без ущерба для ясности смысла. Канцелярские формулы, обращения и протокольные обороты передавались по возможности близко к оригиналу, чтобы русский читатель мог составить представление о языке и духе документов Революции.

Отдельного упоминания заслуживает **передача французских имён собственных**. Имена деятелей Революции даются в традиционной для русской литературы форме (Петион, Манюэль, Робеспьер, Дантон, Лафайет, Рёдерер, Верньо, Гюаде и т. д.). Названия парижских секций, улиц и зданий переведены или транслитерированы в зависимости от сложившейся практики. При этом в примечаниях по мере необходимости поясняются как языковые, так и историко-топографические особенности.

Стиль русского перевода в целом ориентирован на **академическую историческую прозу**, но при этом сохраняет доступность для широкого круга читателей. Сложные синтаксические конструкции французского оригинала, отражающие риторическую культуру XIX века, по возможности упрощались и членились без потери смысловых оттенков. Там, где автор использует эмоционально насыщенную лексику, иронию или сарказм, переводчик стремился найти соответствующие средства русского языка, чтобы передать не только мысль, но и интонацию повествования.

Таким образом, перевод ориентирован на то, чтобы дать русскоязычному читателю **полное и аутентичное представление о тексте Мортимера-Терно**, соединяя научную точность с читабельностью. Сохранение терминологической строгости, внимательное отношение к документальной основе и воспроизведение авторской интонации позволяют рассматривать настоящий перевод как надёжную основу для дальнейшего изучения Французской революции как специалистами, так и всеми интересующимися историей.

Книга IV. — Отстранение мэра Парижа.

I

Мы только что присутствовали при открытии нового царствования; улица диктует свои законы королевской власти и национальному представительству. Что осталось к 1 июля 1792 года от здания, которое законодатели 1791 года полагали столь искусно возведённым? Остов ещё стоит, но глухие трещины обнаруживают внутренние разрывы его плохо пригнанных частей; чувствуется, что он не замедлит рухнуть на самого себя.

Все принципы подчинённости уничтожены; дух мятежа возведён в систему. Уже не низшие власти получают приказы — они их отдают. Простые частные лица, выступая в роли народных трибунов, ссылаются на Конституцию, когда полагают, что могут обратить её на пользу своим страстям, и попирают её ногами, как только им выгодно освободиться от её уз. Уважение к законности, которое Учредительное собрание объявило основой всякого свободного государства, совершенно задушено непрерывными усилиями клубов и демагогических газет. Закон, скрижали которого были выставлены повсюду, дабы он непрерывно напоминался памяти народа, стал лишь мёртвой буквой, которую каждый обсуждает, толкует, преступает и оскорбляет по своему произволу[1].

В недрах Собрания трибуны направляют прения и осуществляют тиранию, всё менее оспариваемую; они ободряют или поносят ораторов, преследуют их до самых скамей восторженными рукоплесканиями или зловещим улюлюканьем.

Если огромную драму революции можно сравнить с греческими трагедиями, герои которых истребляют друг друга, гонимые неодолимым Роком, то трибуны играют в ней роль хоров Софокла и Еврипида; они участвуют в действии, примешивают свои голоса к голосам главных действующих лиц, раздают хулу или похвалу персонажам, стоящим на авансцене, сопровождают своими проклятиями уход жертв, которых ждёт палач — этот представитель античной судьбы.

II

Нужно ли подробно рассказывать о последних попытках, предпринятых несколькими мужественными людьми, чтобы остановить в её течении революционный поток, описывать одну за другой скандальные сцены, театром которых Законодательное собрание становилось ежедневно? Из этих попыток, из этих сцен удовольствуемся упоминанием тех, которые оказали решающее влияние на ход событий; посмотрим, как каждое усилие конституционалистов обращалось против них самих и как каждое законное оружие ломалось в их руках, по мере того как они пытались им воспользоваться.

На другой день после внезапного отъезда генерала Лафайета военный министр Лажар передал Собранию письмо маршала Люкнера, только что доставленное чрезвычайным курьером. Это письмо, датированное в Менене 28 июня, содержало уверения в совершенной преданности конституционной монархии и констатировало полное согласие с генералом, который приобрёл право возвышать свой голос всякий раз, когда речь шла о свободе.

Дата письма Люкнера совпадала с датой прибытия Лафайета в Париж, но события двигались быстрее курьера. Надеялись на театральный эффект, который совершенно не удался: правые вынуждены были хранить молчание, а левые получили возможность возобновить свои доносы против генералов, распространявших среди своих войск неконституционные петиции.

В подкрепление этих доносов, до тех пор остававшихся неопределёнными, Жансонне кладёт на стол председателя письмо, написанное одним офицером Северной армии, в котором бывший член Учредительного собрания Шарль Ламет обвиняется в том, что побудил свою дивизию к составлению адреса, осуждающего последние события. Напрасно Матьё Дюма вос-

кликает, что армию дезорганизуют; донос, подписанный Жансонне, отсылается в комиссию Двенадцати[2].

На следующий день, по поводу протеста граждан Амьена против знаменитого постановления департамента Соммы, Саладен требует, чтобы два администратора, которые были делегированы к королю, были немедленно возвращены к своим обязанностям исполнительной властью, а если они замедлят подчиниться, чтобы они были объявлены недостойными доверия нации.

Правые оспаривают это предложение, обвиняя в ответ в эксцессах народные общества. Административные органы, утверждают левые, суть не что иное, как клубы, когда они выходят за пределы своих полномочий и подают петиции о предметах, их не касающихся. Следовательно, добавляют они, их заседания должны быть публичными, как и заседания собраний патриотов, на которые только что нападали!

— Необходимо безотлагательно заняться клубами, отвечает Жюэри; у якобинцев готовится новое восстание, только там заявляют, что нужно уже не частичное восстание, а восстание всеобщее. — Вы клевете на якобинцев! — кричат слева. — Пусть Собрание занимается тем, что его касается, а не народными обществами, — добавляет Тюрио.

В этот день и в этот час Собрание было весьма немногочисленно; было воскресенье, и заседание должно было быть посвящено лишь приёму просителей. Левые, надеясь взять с бою решение, которое им дорого, настаивают, чтобы принцип публичности заседаний административных органов был немедленно декретирован.

Вопрос столь важный, столь спорный, заслуживал основательного обсуждения. Но Собрание, застигнутое врасплох, опрометчиво декретирует, что, поскольку публичность есть защита интересов народа, заседания административных органов отныне будут публичными. Затем, полагая, что проявляет беспристрастие, оно одновременно декретирует:

что министр внутренних дел явится к решётке отчитаться в том, что он сделал для исполнения закона, запрещающего местным администрациям содержать агентов при Законодательном корпусе и при короле;

что он также отчитается в исполнении закона от 29 сентября 1791 года о клубах и о нарушениях, которые могли быть совершены народными обществами.

III

Едва Собрание приняло эти последние решения, как у решётки появляется депутация, которой поручено представить ему так называемую петицию двадцати тысяч; её ведут Дюпон (де Немур) и Гийом[3], два бывших члена Учредительного собрания, имевшие мужество организовать в Париже и в департаментах всеобщий сбор подписей, призванный сплотить всех добрых граждан под знамёнами закона.

Эта знаменитая петиция содержит перечисление всех провинностей парижского муниципалитета и главнокомандующего национальной гвардией в день 20 июня; она заканчивается так:

«Подумайте, господа, сколькими способами были нарушены закон и Конституция. Подумайте о зрелище, которое Париж, место вашего пребывания и пребывания короля, явил в этот роковой день восьмидесяти трём департаментам и Европе, и посмотрите, к чему обязывают вас звание представителей нации и долг законодателей, верности которых вверен залог Конституции»[4].

Поскольку в Париже уже несколько дней знали день и час, когда будет представлена петиция двадцати тысяч, якобинцы смогли подготовить, в противовес ей и для доставления к решётке одновременно с нею, другие петиции, требовавшие роспуска штаба парижской национальной гвардии[5].

Лафайет насчитывал в этом офицерском корпусе многочисленных друзей и приверженцев, которые всей своей влиятельностью поддерживали конституционную пропаганду Гийома

и Дюпона (де Немура). Поэтому, едва Собрание выслушало чтение якобинских петиций, как Тюрио бросается на трибуну и заявляет, что он в состоянии раскрыть обширный заговор, самым деятельным орудием которого является штаб.

Лакруа, Майль, Арена (с Корсики) требуют, чтобы Собрание немедленно декретировало срочность, а после срочности — принятие принципа роспуска. Другие члены левой предлагают распространить меру на штабы крупных городов: все они поражены одним и тем же первородным пороком — в их рядах состоит большое число офицеров, приверженных Конституции. После бурных прений, среди беспорядка ночного заседания, Собрание, истощённое усталостью, решает под рукоплескания трибун, что штаб национальной гвардии будет немедленно распущен в Париже и во всех городах с населением в пятьдесят тысяч душ и выше[6].

IV

2 июля министр внутренних дел Террье-Монсьель является в Собрание, чтобы подчиниться декрету, принятому накануне, и отчитаться в исполнении закона, запрещающего департаментским и муниципальным администрациям посылать делегатов к королю или в Законодательный корпус.

«Этот закон, — говорит он, — никогда не применялся; в настоящий момент Париж содержит более трёхсот делегатов, прибывших из разных частей королевства во время министерства господина Ролана и его предшественников; впрочем, поскольку директория департамента Соммы поспешила отозвать своих двух комиссаров, не было более оснований принимать меры против администраторов, столь добросовестно исполнивших предписание»[7].

— Речь уже не об этом, — восклицает Гуйтон-Морво, поддержанный Ласурсом, Камбоном, Саладеном. — Неконституционное постановление было перепечатано в Королевской типографии, которая находится в ведении министра внутренних дел. Это новое издание было в изобилии разослано по восьмидесяти двум департаментам по приказу министра. Министр несёт ответственность за эту чрезвычайную публикацию; это подстрекательство к ненависти департаментов против Парижа.

Министр отвечает, что он полагал, что, поскольку во Франции существует свобода печати, коль скоро департаментское постановление не было аннулировано как неконституционное вышестоящей властью, всякий был волен его перепечатывать.

Быть может, Террье-Монсьель несколько злоупотребил своей министерской властью и совершил неосторожность из чрезмерного усердия. С ним обращаются так, словно он виновен в преступлении против нации. Собрание принимает сторону его обвинителей; особым декретом оно поручает председателю подвергнуть Террье настоящему допросу, и тот на своей министерской скамье, кажется, сидит на скамье подсудимых. Более того, один из членов замечает, что неприлично обвиняемому сидеть, пока председатель обращается к нему от имени национального представительства, и представитель исполнительной власти вынужден стоять.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. — Национальное собрание декретом, который оно только что издало, поручает мне спросить вас, известно ли вам, по какому приказу второе издание постановления департамента Соммы было напечатано в Королевской типографии.

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. — Поскольку там печатались разные постановления, возможно, что и постановление департамента Соммы было в их числе; я не помню, были ли положительно даны приказы именно об этом.

МАЙЛЬ. — Поскольку господин министр не желает говорить нам правду, я требую, чтобы типографщик был немедленно вызван к решётке.

Собрание декретует, что директор Королевской типографии будет вызван, и допрос продолжается.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. — Господин министр, да или нет, посылали ли вы это постановление в департаменты?

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. — Этот ряд вопросов, как мне кажется, имеет целью поймать меня на словах; я прошу разрешения отвечать письменно.

ЛЕВЫЕ. — К порядку! Министр оскорбляет Собрание.

ПРАВЫЕ. — Министр прав.

ГЮАДЕ. — Председатель, не допускайте, чтобы достоинство Собрания унижалось.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. — Я снова спрашиваю министра внутренних дел: да или нет, приказывал ли он рассылать это постановление?

МИНИСТР. — Сударь, я не могу ответить «да» или «нет», не справившись о том, что делалось в моих канцеляриях.

ЖАНТИ, среди ропота Горы. — Я требую, чтобы эта сцена, недостойная Собрания, была прекращена.

ЛАПОРТ. — Что ж, пусть комиссия немедленно отправится в канцелярии министерства внутренних дел.

ГЮЙТОН-МОРВО. — Если министр будет продолжать молчать, его молчание должно быть сочтено признанием.

ДАВЕРУЛЬ. — Несколько декретов уже постановили, что министры отвечают письменно на вопросы Собрания.

РАЗНЫЕ ГОЛОСА. — Пусть министр поднимется к столу и подпишет «да» или «нет»; пусть пошлют за полицейским комиссаром, чтобы допросить господина министра!

В этот момент шум усиливается из-за появления постороннего лица, которое приближается к Террье-Монсьелю и шепчет ему несколько слов на ухо.

Несколько членов левой восклицают: «Арестуйте камердинера, который пришёл выручать своего господина!»

Арест немедленно производится стараниями депутата Калона; но под возгласы одобрения правых председатель приказывает освободить министерского служащего. Левые обвиняют председателя в нарушении регламента; председатель избегает объяснения, в третий раз возобновляя допрос министра внутренних дел.

МИНИСТР. — Когда я просил у Национального собрания позволения отвечать ему письменно, моим намерением не было ни уклоняться от вопроса, ни от ответственности, но дать ему ответ ясный, положительный и со знанием дела. Если Собрание питает недоверие, я попрошу его назначить комиссаров, чтобы они сами пришли в мои канцелярии; я покажу им мою переписку, ибо, если я отдавал приказы, они существуют в письменном виде. Моё намерение не в том, чтобы скрывать истину, а в том, чтобы показать её такою, какова она есть.

ИСНАР. — Всё это лишь преступная увёртка. Слишком долго играют декретами Законодательного корпуса. Требуют доказательств недобросовестности министров — так вот одно из них: молчание этого человека. Спрашивают, где изменники, — так вот один из них. — И он указывает жестом на Террье-Монсьеля.

Эта выходка вызывает со стороны правых самые живые протесты. Председатель может положить ей конец лишь призвав Иснара к порядку. Левые мстят, осыпая упрёками самого председателя. Министр внутренних дел встаёт, чтобы выйти. Депутаты бросаются преградить ему путь, громко требуя, чтобы он наконец ответил на заданные ему вопросы. Но председатель, поддержанный большинством Собрания, уставшего от столь долгого скандала, посылает пристава открыть ему проход[8].

V

Вспомним, что король отказался санкционировать декрет, изданный 8 июня по неконституционному предложению Сервана о создании лагеря под Парижем, но счёл нужным сам предложить набор сорока двух новых батальонов и их сосредоточение в Суассоне.

Однако некоторые муниципалитеты совершенно не посчитались с королевским вето. Они набрали свой контингент и, казалось, были расположены направить его на столицу.

Министр внутренних дел счёл нужным 30 июня обратиться к директориям департаментов с циркуляром, приглашая их предписать мировым офицерам, национальной жандармерии и всякой публичной силе наблюдать и в случае необходимости рассеивать всякое скопление вооружённых людей, движущихся без реквизиции или законного разрешения за пределы своей территории, даже если бы они ссылались на намерение отправиться в Париж[9].

Законность этого циркуляра оспорить было нелегко, ибо он опирался на право короля противиться преждевременному исполнению декрета, которому он отказал в санкции. Но затруднение можно было обойти: решили узаконить прибытие федератов в Париж, не совершая слишком прямого посягательства на бесспорные права исполнительной власти. 2 июля докладчик военного комитета Бопюи предложил проект декрета в семнадцати статьях, одобрявший формирование сорока двух батальонов; после доклада потребовали его напечатания и отсрочки. Таким образом, были соблюдены приличия по отношению к королевской власти, и можно было отныне открыть свои батареи. Несколько минут спустя, от имени чрезвычайной комиссии Двенадцати, Лакюз[10] читает декрет, который, по его собственным словам, «не нуждался в развитии»[11]. Он предписывал меры, которые парижский муниципалитет должен был принять при ближайшем прибытии национальных гвардейцев, направляющихся к столице.

Декрет был составлен искусно; слово «федераты» в нём не произносится; говорится лишь о гражданах, которых любовь к Конституции и свободе побудила отправиться в Париж. Эти граждане будут использованы, поскольку они оказались собранными, либо для усиления резерва, предназначенного прикрывать столицу, либо для увеличения численности действующей армии. Таким образом, признаётся принцип сбора, но делается вид, что возвращаются к королевским намерениям, объявляя самые тщательные предосторожности, дабы присутствие федератов не послужило предлогом для беспорядков.

При проходе через Париж граждане национальные гвардейцы должны будут записаться в муниципалитете, который выдаст им билеты на военный постой, действительные до 18 июля.

Те из них, кто прибудет до праздника Федерации, останутся, чтобы присутствовать на нём. Те, кто прибудет после 14 июля, не смогут продлить своё пребывание свыше трёх дней; они будут последовательно направляться в Суассон, где всё должно быть приготовлено для их приёма.

Тотчас после чтения этого проекта, срочность которого Собрание декретирует, один из членов левой, Мазюе, имеет неосторожность напомнить о циркуляре министра внутренних дел и потребовать, чтобы дополнительная статья формально отменила его, дабы национальные гвардейцы, находящиеся в пути, не подвергались ни беспокойству, ни оскорблениям, но повсюду получали почести, подобающие друзьям и братьям.

Лакюз спешит прервать незадачливого оратора, заметив ему, что самое верное средство предотвратить действие министерского письма — это просто-напросто проголосовать декрет. Даверуль просит слова, чтобы возражать[12], но ему отказывают, и Собрание, желающее любой ценой избавиться от вопроса, который уже месяц его волнует и докучает, спешит принять декрет и распорядиться немедленно представить его на королевскую санкцию, а затем разослать с чрезвычайными курьерами по восьмидесяти трём департаментам.

Не нужно было быть пророком, чтобы легко предсказать, что якобинцы найдут тысячу предлогов удержать в Париже, по крайней мере, тех федератов, которые покажутся расположенными содействовать их планам восстания. Однако король без возражений санкционировал пагубный декрет. Ни он, ни его советники не увидели, не захотели увидеть, чем был по существу этот законодательный акт. Разве не был он в действительности формальным отрицанием всего, что говорилось и делалось от имени королевской власти в течение месяца; молчаливым согласием с требованиями, которые явилась предъявить 20 июня с оружием в руках парижская чернь; освящением дерзкой инициативы, проявленной некоторыми якобинскими муниципалитетами, направившими своих федератов на Париж вопреки всем законным предписаниям?

То, что Петион и муниципалитет совершили 20 июня, король и Собрание только что повторили 2 июля: узаконение сборищ сделало возможным нарушение королевского жилища; узаконение сосредоточения федератов в Париже должно было чрезвычайно облегчить вторжение в Тюильри и низвержение монархии.

«Батальоны уже в пути, — говорили Собранию и королю, — необходимо урегулировать это нарушение закона, поскольку воспрепятствовать ему невозможно». Обе власти уступили, таким образом, силе свершившегося факта — тому магическому зеркалу, которое ловкие люди заставляют сверкать перед глазами всех, кого хотят обмануть и ослепить.

VI

Доклады, неоднократно затребованные от министров, были переданы в чрезвычайную комиссию Двенадцати. Многочисленные петиции, адреса, доносы разного направления, ежедневно прибывавшие из Парижа и из департаментов, также передавались ей. Из этой массы запутанных, противоречивых документов она должна была составить картину положения Франции. Она разделила свою работу на две части и назначила двух докладчиков, принадлежавших один к правой, другой к левой. Действуя таким образом, неужели комиссия надеялась возобновить в разгар революции состязания риториков афинской площади и заставить спокойно вести перед французским народом прения «за» и «против» в великом процессе, который уже несколько месяцев волновал всех?

30 июня Пасторе и Жан Дебри представили от имени Двенадцати общую картину положения и ряд мер, которые надлежало принять в случае опасности для отечества. Хотя оба говорили от имени одной и той же комиссии, оба оратора вложили в свои доклады идеи и стремления партий, к которым каждый из них принадлежал.

Пасторе перечислял бедствия, тяготевшие над Францией: одни естественно вытекали из великой революции, другие не зависели от неё; эти проистекали из поведения конституционных властей, те — из поведения граждан... Быстро скользнув по июньским событиям, для которых он сумел добиться нескольких слов осуждения, он объявил, что впоследствии будут предложены различные меры, способные исправить плачевное положение вещей. Будут восполнены пробелы уголовного кодекса. Будут обузданы эксцессы трибун; представители получат отличительную одежду. Что касается армии, то её можно будет скорее привести в состояние сопротивления врагу, если Собрание пошлёт в неё комиссаров[13], уполномоченных не командовать и не исполнять функции, принадлежащие лишь агентам исполнительной власти, но проверять, каково состояние снабжения, и собирать все сведения, необходимые для надзора за административными действиями и для составления хороших военных законов; ещё будет тщательно рассмотрено, следует ли сохранять за генералами право петиций.

Что касается религиозных смут, докладчик обещал, что в самом скором времени будет подготовлен новый закон взамен того, который государь отказывался санкционировать; он объявил также о декрете, имеющем целью не уничтожить народные общества, разрешённые Конституцией, но помешать им прямо или косвенно препятствовать действиям конституционных властей.

Доклад Пасторе был настоящей гоимией, не приводившей ни к какому выводу и оставлявшей всё в безнадёжной неопределённости, программой, сжато излагавшей предметы, которыми чрезвычайная комиссия и Собрание под её влиянием должны были бы последовательно заняться на досуге. Но когда наступит этот досуг? Позволят ли стремительно нараставшие события оптимистически настроенным законодателям время разъяснить, обсудить и разрешить все вопросы, только что столь благодушно перечисленные?

Хотя оратор старался держать весы ровно между всеми партиями, смягчая их взаимные провинности, хотя он употребил в своей картине положения королевства лишь тусклые краски и полустёртые тона, левые хотели отказать его докладу в самой банальной чести — рассылке по восьмидесяти трём департаментам. Потребовались прения и голосование, чтобы её добиться.

VII

Гораздо более чётким и резким был доклад Жана Дебри, которому было специально поручено поставить главный вопрос момента — вопрос об опасности для отечества.

Депутат Горы представил Собранию девять весьма положительных, весьма энергичных статей, которые, как мы скоро увидим, будут обращены в закон.

По предложению Верньо обсуждение обоих докладов было отложено до 2 июля; но из-за разных происшествий оно могло возобновиться лишь 3-го. Собрание получило накануне официальные депеши и частные письма, извещавшие об отступлении Северной армии. Люкнер отходил к Лиллю и Валансьену, потому что, как он говорил в своём донесении, он не нашёл в Бельгии обещанной ему народной симпатии и не мог более держаться против слишком многочисленного врага. Военные необходимости заставили французскую армию при отступлении сжечь предместья Куртре. Все находились под гнётом впечатлений, произведённых этими печальными известиями и обвинениями в измене, которые якобинцы уже бросали против нескольких генералов Северной армии, когда, едва открылось заседание, увидели, как Верньо медленно поднимается по ступеням трибуны.

Ах! если бы в этот миг ему дано было проникнуть сквозь завесы, скрывавшие будущее — увы! столь близкое; если бы он мог догадаться, что повстанцы 10 августа и палач 21 января придут сделать логические выводы из посылок, которые он собирался изложить; если бы он мог услышать самого себя, последовательно произносящего от имени Законодательного собрания и Конвента отречение от власти, заточение и смерть Людовика XVI! Ах! если бы некая волшебная сила вдруг развернула перед его глазами кровавые катастрофы, свидетелем, участником и жертвой которых суждено было стать ему самому и его друзьям, — он, конечно, отступил бы. Но человек осуждён идти вслепую через лабиринт жизни и видеть пропасть, разверзшуюся под его ногами, лишь в то самое мгновение, когда он в неё падает.

Верньо в этой знаменитой речи, настоящем обвинительном акте республики против монархии, по мастерству и патетике поднимается до высоты прекраснейших образцов, завещанных нам древностью; красноречием он не уступает ораторам, некогда произносившим Филиппики и Катилинарии; но громом своего слова он поражал не коварного политика и не дерзкого заговорщика — он поражал честного короля, слабого и нерешительного, питавшего отвращение к крови и в последний момент, вместо того чтобы пролить её, отдавшегося в руки своих врагов.

Жирондистский депутат быстро входит в суть дела:

«Наши армии отступают, освещая своё отступление пожаром Куртре. Всякое движение наших войск, кажется, приостановлено в тот самый момент, когда австрийцы грозят вторгнуться на северную границу, а пруссаки спешат к Рейну. Внутри страны брожение непрестанно растёт, ввергая нацию в страшный кризис. Что должно делать Собрание? Что предписывает ему необходимость? Что позволяет Конституция? Вот что намерен рассмотреть представитель народа, невозмутимый перед штыками, как и перед клеветой».

Верньо резко оставляет неопределённые фразы; он позволяет потоку своего красноречия устремиться вплоть до трона и затопить монархию.

«Именем короля французские принцы пытались поднять против нации все дворы Европы; ради отмщения за достоинство короля был заключён Пильницкий договор и образован чудовищный союз между венским и берлинским дворами; ради защиты короля увидели мы, как в Германию устремились под знамёна мятежа бывшие роты телохранителей; ради помощи королю эмигранты добиваются и получают службу в австрийских армиях и готовятся терзать грудь своей родины; чтобы присоединиться к этим доблестным рыцарям королевской прерогативы, другие рыцари, исполненные чести и щепетильности, покидают свой пост перед лицом неприятеля, изменяют присяге, похищают кассы, стараются развратить солдат и полагают свою славу в трусости, клятвопреступлении, подкупе, воровстве и убийствах! Против нации, или,

вернее, против одного Национального собрания, и ради сохранения блеска трона король Богемии и Венгрии ведёт с нами войну, а король Пруссии движется к нашим границам: именем короля свобода подвергается нападению, и если бы удалось её ниспровергнуть, то вскоре империя была бы расчленена, чтобы возместить расходы союзных держав. Наконец, все бедствия, которые стараются нагромоздить над нашими головами, все те, которых нам надлежит страшиться, — одно лишь имя короля служит им предлогом или причиной».

Определив таким образом положение, Верньо далее действует уже не категорическими утверждениями, а намёками и гипотезами:

«Если бы против ста тысяч австрийцев, ста тысяч пруссаков были выставлены лишь отряды в десять, в двадцать тысяч человек; если бы необходимые приготовления для отражения близкого вторжения совершались слишком медленно; если бы меры, принятые, чтобы остановить врага в сердце страны, не были одобрены; если бы один из генералов, командующих обороной, был подозрителен, а другой принуждён не побеждать; если бы, наконец, случилось так, что Франция утонула бы в крови, чужеземец господствовал бы в ней, Конституция была бы поколеблена, контрреволюция стояла бы у порога, а король сказал бы вам в своё оправдание:

„Правда, враги, раздражающие Францию, утверждают, что действуют лишь для восстановления моей власти, которую они считают уничтоженной, для отмщения за моё достоинство, которое они считают поруганным, для возвращения мне королевских прав, которые они считают утраченными. Но я доказал, что я не их сообщник. Я повиновался Конституции, которая формальным актом предписывает мне противиться их предприятиям, ибо я двинул свои армии в поход; правда, эти армии слишком слабы, но Конституция не определяет степень силы, которую я должен был им дать; правда, я собрал их слишком поздно, но Конституция не указывает времени, когда я должен был их собрать; правда, резервные лагеря могли бы их поддержать, но Конституция не обязывает меня создавать резервные лагеря; правда, когда генералы победоносно продвигались по неприятельской территории, я приказал им остановиться, но Конституция не предписывает мне одерживать победы, она даже запрещает мне завоевания; правда, мои министры непрестанно обманывали Национальное собрание относительно численности, расположения войск и их снабжения... но Конституция ставит их назначение в зависимость лишь от моей воли, и нигде она не предписывает мне дарить моё доверие патриотам и прогонять контрреволюционеров; правда, Национальное собрание издало полезные декреты, а я отказался их санкционировать, но я имел на это право... Правда, наконец, деспотизм готов вложить мне в руки свой железный скипетр, я раздавлю вас им, вы будете пресмыкаться, я накажу вас за дерзость желать быть свободными; но я сделал всё, что предписывает мне Конституция; от меня не исходило ни одного акта, который Конституция осуждает. Посему непозволительно сомневаться в моей верности ей и в моём усердии к её защите“».

Бешеные рукоплескания прерывают оратора.

Тотчас возобновляя свою страшную гипотезу, он диктует ответ, который нация была бы вправе дать, если бы её король заговорил с ней таким языком:

«О король! Вы, конечно, полагали вместе с тираном Лисандром, что истина не лучше лжи и что людей надобно забавлять клятвами, как забавляют детей камешками; вы лишь притворялись, что любите закон, дабы сохранить власть, которая послужила бы вам для его поправления; Конституцию — дабы она не низвергла вас с трона, на котором вам нужно было остаться, чтобы её уничтожить; нацию — дабы обеспечить успех ваших вероломств, внушив ей доверие; можете ли вы ныне обмануть нас лицемерными уверениями? Нет, нет, человек, которого великодушные французы не могли тронуть, человек, которого одна лишь любовь к деспотизму могла сделать чувствительным, вы не исполнили воли Конституции! Вы более ничто для этой Конституции, которую вы недостойно нарушили, для этого народа, которого вы столь подло предали».

Громовые рукоплескания раздаются неоднократно и надолго мешают Верньо продолжать. Наконец оратор завершает свою речь заявлением, что он ещё верит в примирение тех, кто в Риме, и тех, кто на Авентинском холме; он предлагает объявить отечество в опасности, возложить на министров ответственность за все внутренние и внешние опасности, направить королю послание твёрдое, достойное, энергичное, без несвоевременных упреков — не манифест войны, но призыв к единению.

Всё Собрание было, так сказать, покорено всемогущим словом великого жирондистского оратора. Печатание и рассылка его речи по департаментам голосуются без малейшего возражения. Лишь Камбон роняет фразу, выдающую истинные намерения левой: «Я требую, — говорит он, — чтобы в печатном тексте всё, что господин Верньо сказал в гипотетической форме, было изложено утвердительно; ибо мы должны говорить народу правду, а все предположения господина Верньо суть истины». Так крайняя левая чуть ли не упрекала в слабости того, кто только что нанёс смертельный удар монархии; она словно корила его за то, что он не провозгласил восстание и не ударил без малейшего промедления в набат 10 августа.

VIII

Матьё Дюма сменяет Верньо на трибуне.

Чтобы отвечать такому противнику в подобный момент, действительно требовалось мужество, и предшествовавшие нам историки, кажется, недостаточно подчеркнули заслугу конституционного оратора, пытавшегося рассуждать перед собранием, увлечённым страстью. Речь Дюма, без сомнения, гораздо менее красноречива, чем речь Верньо, но он произнёс её среди частых перерывов, довёл до конца спокойно и завершил с достоинством.

Дюма старается доказать, что нынешние министры не могут считаться ответственными за дурной исход военного плана, задуманного их предшественниками; что вето, наложенное на лагерь двадцати тысяч, не остановило планомерного увеличения армии; что отказ санкционировать закон о священниках не является причиной религиозных смут; что король действовал в отношении эмиграции так, как ему надлежало.

— А бегство в Варенн? — кричат слева; — а вето на декрет против эмигрантов?

Дюма тем не менее продолжает заявлять, что гипотеза о тайном сговоре конституционного монарха с эмигрантами — клевета. Затем он прямо переходит к похвале Лафайету, этому герою свободы, которого, не колеблясь, сравнивает с Вашингтоном и который, подобно своему соратнику и образцу, быть может, призван испить до дна чашу народной неблагодарности. В заключение он требует: 1) предварительного вопроса об ответственности, которую Верньо хотел возложить на министров; 2) отправки послания королю и обращения к французам.

Когда Матьё Дюма сходит с трибуны, правые рукоплещут. Но левые издают иронический ропот и даже взрывы смеха. Конституционалисты требуют, чтобы речь их друга также удостоилась чести печатания. Поставленное на голосование, это предложение отклоняется после двух сомнительных проверок. У Собрания были две меры и двое весов: предоставив нападению самую широкую гласность, оно отказывало в ней защите. Такова часто бывает справедливость партий.

4 июля Жан Дебри представил окончательную редакцию декрета, объявленного чрезвычайной комиссией.

Собрание оставляло за собой право объявить отечество в опасности, и притом без необходимости королевской санкции; акт Законодательного корпуса становился исполнимым немедленно.

Как только председателем будут произнесены эти сакраментальные слова: «Граждане, отечество в опасности!» — все конституционные власти во всех частях королевства должны были заседать непрерывно, все национальные гвардии призывались в распоряжение, все граждане обязаны были заявить об имеющемся у них оружии и боеприпасах.

Всякий человек, француз или иностранец, проживающий или путешествующий во Франции, обязан был носить трёхцветную кокарду; всякое лицо, носящее знак мятежа, подлежало преследованию перед обычными судами и наказанию смертью.

Этот декрет был немедленно принят, а обсуждение других мер общей безопасности, в частности министерской ответственности, было отложено на следующий день.

В этот день Торне, конституционный епископ департамента Шер, явился изложить ясно и без недомолвок взгляды Горы. Оставив в стороне ораторские предосторожности, которыми жирондистский оратор облёк свою мысль, он открыто обвинил короля в том, что тот является опорой мятежных священников и попирает декреты Законодательного корпуса под защитой своего вето. Опасности для отечества, по его словам, столь велики, а измены исполнительной власти столь вопиющие, что Собрание, взяв на себя диктатуру, должно было руководствоваться единственно правилом: «Спасение народа — высший закон». — «Конституция или смерть!» — кричат ему справа. — «Это всё равно что сказать, — отвечает Торне, — смерть народа посредством Конституции, лишь бы не спасти народ мерами неконституционными, но временными».

Правые при этих словах поднимаются все как один и требуют, чтобы оратор был призван к порядку; но тот, не смущаясь, говорит последовательно об эфорах Спарты, о диктаторах Рима, о протекторе Англии и заключает тем, что после объявления отечества в опасности Собрание должно оставить за собой право принимать такие иные меры, какие обстоятельства могли бы сделать необходимыми.

Пасторе и Воблан бросаются на трибуну и обличают речь Торне как доказательство союза между аристократами Кобленца и внутренними смутьянами. Маранс добавляет, что шесть недель назад Торне заявил ему, что для спасения народа надобно закрыть книгу Конституции, чтобы Национальное собрание захватило все власти, а если найдутся непокорные, то перенестись на юг, дабы иметь Луару между ними и собой[14]. Это разоблачение вызывает всеобщее негодование. Епископ Шера хочет объяснить, но выкрики мешают ему продолжать, и Собрание декретом лишает его слова. В этот момент приходит послание, в котором Людовик XVI заявляет, что при приближении годовщины дня, когда на алтаре отечества был заключён союзный договор между королевской властью и нацией, он считает необходимым дать армиям залог единения двух властей, возобновляющих один и тот же обет — жить свободными или умереть; он объявляет, что отправится на Марсово поле, среди депутатов, принять присягу французам. Королевское послание встречается рукоплесканиями большинства. Но было predeterminedено, что ни один шаг несчастного монарха не найдёт милости у Горы: она с живостью подхватывает место, где Его Величество выражает желание принять присягу федератов, и заявляет, что это притязание неконституционно.

На следующий день новый министр юстиции Дежолли приходит от имени короля заявить, что выражения послания были неверно поняты; что монарх не может и не должен один принимать присягу французам, но полагает, что может принять её вместе с Собранием. Совокупность королевского письма, добавляет министр, должна была бы убедить всех в искренности намерений монарха[15].

Это заявление, конечно, должно было удовлетворить самых придирчивых; но Гора возбуждает новые придирки по поводу формы. Кутон утверждает, что Конституция требует, чтобы сношения между Законодательным корпусом и королём происходили без посредников, и что, следовательно, остаётся лишь перейти к порядку дня по поводу сказанного министром юстиции. Это прекрасное рассуждение приходится по вкусу Собранию, и предложение принимается.

Вот как отвечали на шаги короля навстречу, в тот самый момент, когда он проявлял самые убедительные намерения; вот как было встречено и письмо, которым на следующий день (6 июля) министр иностранных дел Шамбона извещал Собрание о приближении прусских

войск. Едва чтение этого письма окончено, Жансонне требует, чтобы министр был вызван к решётке и чтобы Собрание перешло к порядку дня по поводу изложения фактов, переданного Законодательному корпусу в форме, не предписанной основным договором.

Напрасно Шамбона признаёт, что мог ошибиться; напрасно его письмо заменяется в течение суток королевским посланием; Собрание, по предложению Гюйтон-Морво от имени Двенадцати, торжественно декретирует, что министр иностранных дел нарушил конституционные формы [16].

IX

При приближении решительной борьбы все умы были полны колебаний и тревоги. Конституционалисты боялись работать на пользу сторонников старого режима. Жирондисты чувствовали, что час победы лишь на несколько минут опередит для них час ожесточённой борьбы с монтаньярами, сегодня их союзниками, завтра непримиримыми врагами. Среди самих последних кое-кто не мог ли уже предчувствовать, что позднее их обвинят в модерантизме, скажут, что они уже не на высоте принципов?

Поэтому в знаменитой сцене, получившей название «поцелуй Ламуретта», Законодательное собрание было искренним, отдаваясь одному из тех великодушных порывов, которым — к чести человечества — не могут противиться люди, взволнованные одним словом, одержимые одними предчувствиями, волнуемые одними страхами.

В середине заседания 7 июля порядок дня требовал обсуждения мер общей безопасности. Внезапно конституционный епископ Лиона Ламуретт просит слова для внеочередного предложения и голосом одновременно строгим и мягким произносит: «В тот момент, когда предлагаются меры для спасения отечества, надобно подрубить в самом корне зародыш всех общественных бедствий — разъединение двух великих властей государства. Уже не раз говорили о единении, а единение не наступило; между тем оно должно совершиться, ибо честные люди, расходясь во мнениях, взаимно просвещая друг друга откровенным обсуждением, всегда могут встретиться и понять друг друга на почве честности, чести, любви к отечеству и свободе. Поклянёмся же иметь один дух, одно чувство, слиться в одну и ту же массу свободных людей, равно грозных и духу анархии, и духу феодальному; мгновение, когда чужеземец увидит, что мы хотим лишь одного и хотим этого все вместе, будет мгновением, когда свобода восторжествует и Франция будет спасена...»

Раздаются необъятные рукоплескания.

«Я требую, — заключает оратор, — чтобы господин председатель поставил на голосование такое простое предложение: пусть встанут те, кто отрекается и гнушается республикой и двумя палатами!»

Охваченное неописуемым воодушевлением, всё Собрание встаёт; левые спускаются к правым, правые бегут к левым; Жокур садится рядом с Мерленом, Дюма — рядом с Базиром, Альбитт — рядом с Рамоном; Жансонне и Кальве, Жанти и Шабо, самые враждебные друг другу депутаты пожимают друг другу руки, обнимаются. Пасторе и Кондорсе, которые ещё утром обменялись в редактируемых ими газетах более чем язвительными письмами, падают друг другу в объятия.

«Да, мы все братья! — кричат зрители. — Мы все хотим одного: Конституции, свободы, равенства».

Бриссо, который ранее получил слово, чтобы объяснить об опасностях отечества, отказывается от него, боясь нарушить эту трогательную сцену. Он хочет пересмотреть свою речь, чтобы вычеркнуть из неё всё, что могло бы служить пищей страстям. Требуют, чтобы протокол заседания был разослан по восьмидесяти трём департаментам, чтобы депутация из двадцати четырёх членов была отправлена к королю известить его о только что происшедшем; чтобы все конституционные власти и судебные органы были приглашены присутствовать при единении всех представителей нации. Эти предложения единогласно принимаются. Несколько

мгновений спустя появляется король в сопровождении Ламуретта и депутатов, делегированных к нему.

«Самым трогательным для меня деянием, — говорит он, — является воссоединение всех волей ради спасения отечества. Я давно желал этого счастливого мгновения; моё желание исполнилось. Я пришёл сам сказать вам, что нация и король составляют одно. У них одна цель. Их союз спасёт Францию. Конституция должна быть точкой сплочения всех французов; мы все должны её защищать; король всегда будет подавать им в этом пример».

Председатель отвечает:

«Государь, это достопамятное мгновение воссоединения всех конституционных властей будет знаком ликования для всех друзей свободы и ужаса для всех её врагов. Это единение составляет ту силу, которая нужна нации, чтобы сражаться с тиранами, вступившими против неё в заговор; оно — верный залог победы».

Восторг достигает высшей точки. Крики «да здравствует король!» смешиваются с криками «да здравствует нация!».

Людовик XVI добавляет: «Признаюсь вам, господин председатель, мне не терпелось, чтобы депутация прибыла, — так хотелось мне поспешить в Собрание».

Раздаются новые рукоплескания; они продолжаются до закрытия заседания, которое происходит тотчас после ухода монарха.

Х

Увы! недолговечной была иллюзия тех, кто в этих лихорадочных объятиях, в этих восторженных рукопожатиях прозрел новую эру счастья и благоденствия для Франции. Партии не захотели ратифицировать союзный договор, заключённый их вождями. Якобинцы в особенности, чьи главные заправилы — Дантон, Робеспьер, Колло д'Эрбуа, Бийо-Варенн — не входили в Законодательное собрание, подняли громкий крик против того, что они называли замазыванием, нормандским примирением, поцелуем Иуды.

Волнение, бывшее огромным в стенах Собрания, передавшееся трибунам и распространившееся по Парижу с чрезвычайной быстротой, скоро угасло, как соломенный огонь, под насмешками и шутками газет всех цветов.

Но немалую роль в новом разжигании страстей сыграло — совпадение совершенно случайное, но крайне несчастливое — прибытие вскоре после сцены, вызванной Ламуреттом, муниципальной депутации, объявившей, что генеральный совет департамента Парижа постановил отстранить от должности мэра Петiona и прокурора коммуны Манюэля. Официальная депутация удалилась, но некоторые члены муниципалитета остаются, и один из них, Осселен, читает адрес, подписанный лично друзьями, которых отстранённый мэр имел в составе генерального совета. Этот адрес резко осуждал поведение департамента, провозглашал Петiona спасителем отечества и заканчивался так: «Если мэр виновен, то все магистраты, его помощники, — его сообщники и должны подвергнуться той же участи».

«Да, — повторяют хором просители, — мы домогаемся чести разделить его участь. Судите его, судите нас!»

Шабо восклицает, что столь прекрасный порыв великодушия не должен пропасть для истории; он требует напечатания документа, прочитанного Осселеном. Лакруа идёт дальше Шабо и добивается декрета, что исполнительная власть обязана уже на следующий день отчитаться о мерах, принятых ею в связи с постановлением департамента Парижа[17].

Так, по роковой случайности, в тот самый момент, когда все тучи, казалось, рассеивались, на горизонте появилась та чёрная точка, откуда должна была выйти буря.

XI

Мы видели в предыдущей книге, с какой настойчивостью департамент требовал от различных должностных лиц отчёта о том, что они делали до, во время и после вторжения в Тюильри; как, несмотря на конфиденциальные и дружеские записки генерального проку-

рора-синдика к Петиону, последний дошёл до открытой враждебности к власти, которую Конституция поставила непосредственно над его властью; наконец, каким образом герцог де Ларошфуко, председатель директории, смело встретил дурное настроение слишком популярного магистрата и добился законным путём выдачи донесений, которых не смог получить частным образом.

Тем временем мировые судьи продолжали собирать показания очевидцев; различные донесения и протоколы муниципальных офицеров были одно за другим исторгнуты из мэрии; штаб национальной гвардии прислал всё, чем располагал в смысле военных сведений. Следствие, назначенное директорией департамента, таким образом оказалось почти завершённым. Петион и сам представил своё оправдание, напечатав изложение своего поведения. Один лишь прокурор коммуны Манюэль упорно не отвечал на повторные требования. Теснимый Рёдерером, он имел наглость написать, что 20 июня провёл в Тюильри не более часа, поскольку утром и вечером его место было в ратуше, и что он очень сожалел бы, если бы потерял время, ему не принадлежащее, на собирание фактов, которые должен судить один лишь историк. «Клянусь, — говорил он в заключение, — что мэр Парижа спас народ!»[18] С трудом удалось добиться его согласия предстать перед департаментскими комиссарами. Из его объяснений следовало, что ни 18, ни 20 июня он не сообщал муниципальному корпусу постановления, принятого 16-го генеральным советом; что, зная постановление департамента, он не требовал его исполнения; более того, он одобрил противоположное постановление муниципалитета; и наконец, что, вместо того чтобы направиться к Тюильри при первом шуме, как предписывал ему закон, он едва провёл час в саду, прогуливаясь без перевязи, как простой частный человек.

Исполнив, насколько могли, порученную им миссию, три следственных комиссара департамента — Гарнье, Левийяр и Демотор — прочли 4 июля генеральному совету доклад, в котором события 20 июня и участие, принятое в них различными обвиняемыми властями, были превосходно изложены.

Они заключали требованием отстранения от должности мэра, прокурора коммуны и полицейских администраторов, согласно статье 9 закона от 27 марта 1791 года, а в отношении главнокомандующего ограничивались простым советом быть впредь более точным в своей службе[19].

Формы судопроизводства, принятые в судах, были применены к новым административным органам. Специальные комиссары представляли доклад; генеральный прокурор-синдик или его заместитель, в качестве прокуратуры, делал заключения, согласные или несогласные с заключениями комиссаров; и наконец, весь совет выносил решение.

Поэтому, когда Демотор, Левийяр и Гарнье сообщили свой доклад генеральному прокурору-синдику, последний должен был, согласно закону, представить свои заключения. Рёдерер был другом Петиона; его обвинительная речь стала настоящей защитой мэра и даже прокурора коммуны, которого невозможно было отделить от него.

Возобновив рассмотрение всех документов, генеральный прокурор-синдик начинает с перечисления бесспорных фактов: образование сборища, взломанная решётка Фейянов, пушка, наведённая на королевские двери, эти двери, открытые национальными гвардейцами, вторжение в королевское жилище, резкие речи, обращённые к королю, похищение нескольких движимых предметов. «Заботу о розыске виновников этих фактов, — говорит он, — должны взять на себя суды. Департамент же должен заниматься лишь поведением муниципальных офицеров, обвиняемых в неисполнении своего долга. Но незаконное постановление, которым муниципальный корпус пытался узаконить незаконное сборище, было принято не одним мэром и, следовательно, не может быть поставлено ему в вину. Впрочем, разве само Национальное собрание не показало, что невозможно было противиться нашествию толпы вооружённых просителей, приняв их в свою среду? Заранее поручив самый деятельный надзор главнокомандующему и не имея возможности приказать ему большего, мэр и муниципальные офицеры

не должны считаться ответственными за вторжение во дворец. Когда же вторжение произошло, им уже невозможно было действовать силой для его отражения, ибо это значило бы подвергнуть опасности жизнь короля. Сделал ли Петион всё, что должен был сделать, чтобы положить конец беспорядку, чтобы смягчить его, раз не мог его предотвратить?» На этот вопрос Рёдерер отвечает: «...Если бы мне надлежало судить мэра Парижа как присяжному, по моему внутреннему убеждению, я ни секунды не колебался бы оправдать его с честью. Тем менее могу я сделать меньше для него, имея лишь совещательный голос по поводу его поведения»[20].

6 июля генеральный совет департамента собрался, чтобы вынести решение по противоречивым докладам своих комиссаров и генерального прокурора-синдика. Он сознавал огромную ответственность, которая должна была лечь на него. Он знал, с каким неопишным нетерпением все партии ждали его вердикта. Он знал, что, приняв предложение своих трёх комиссаров, он навлечёт на голову каждого из своих членов весь народный гнев[21], но он знал также, что будет отвечать за своё постановление перед историей, этим высшим судом деяний и суждений людей. Лишь после долгих и добросовестных прений генеральный совет департамента решился произнести отстранение от должности Петиона и Манюэля. Заседание, начавшееся рано утром 6-го, затянулось до четырёх часов утра 7 июля[22].

XII

Несколько часов спустя генеральный совет коммуны был созван, чтобы выслушать чтение департаментского постановления и избрать временного мэра. Был избран муниципальный офицер Бори. Именно он во главе депутации, о которой мы говорили, пришёл официально объявить Собранию об отстранении мэра и прокурора-синдика.

Петион в тот же день распорядился расклеить по Парижу объявление следующего содержания:

«Граждане, я отстранён от своих обязанностей. Примите это решение, как принял его я сам, с спокойствием и хладнокровием. Вскоре высшая власть произнесёт своё слово, и я надеюсь, что невиновность будет отмщена достойным её образом — законом».

По Конституции право подтвердить или отменить департаментское постановление принадлежало королю; но, по странному смешению властей, последнее слово в такого рода делах было оставлено за законодательной властью, которая таким образом призывалась высказаться о королевском решении. О последнем Петион беспокоился мало; он рассчитывал на высшую власть и на давление, которое его друзья-якобинцы не преминут оказать в его пользу.

Людовик XVI также обратился к Собранию. За несколько мгновений до этого он приходил скрепить примирение партий; он полагал, что даст новый залог своей совершенной искренности, предоставив представителям народа заботу об охране достоинства короны. Едва вернувшись в Тюильри, он написал председателю:

«Мне только что передали постановление департамента, временно отстраняющее от должности мэра и прокурора коммуны Парижа. Поскольку это постановление касается событий, затрагивающих меня лично, первым движением моего сердца было просить Национальное собрание само вынести решение по этому делу.

ЛУИ.

Контрасигновано: ДЕЖОЛИ».

Но вечером 7 июля депутаты были уже не в том расположении духа, что утром. Недоверие, гнев, ненависть снова заняли своё привычное место в сердцах тех, кто несколькими часами ранее отрёкся от них на алтаре отечества. Вместо того чтобы последовать за Людовиком XVI по пути примирения, Собрание, приняв предложение Мерлена (из Тионвиля) и Ласурса, попросту перешло к порядку дня по королевскому письму. Оно, по их словам, не могло конституционно заниматься департаментским постановлением, пока король не воспользуется своим правом подтверждения или отмены.

Людовик XVI, таким образом, оказался вынужден выносить решение по собственному делу. Если он оправдает Петиона и Манюэля, то отдаст народному гневу генеральный совет департамента, благородно исполнивший свой долг. Если он подтвердит произнесённое отстранение, то будет выглядеть осуществляющим личную месть и рискует увидеть своё решение отменённым Законодательным собранием.

Королю давались самые противоречивые советы, усиливавшие его природную нерешительность.

Рёдерер написал ему как частное лицо письмо, которое, собственно говоря, было лишь повторением заключений, представленных им в качестве генерального прокурора. Взяв за отправную точку «поцелуй Ламуретта», которым, по его словам, революция действительно завершалась, он умолял Людовика XVI проявить снисходительность к тем, кто мог оказаться виновным в том, что он в своей наивности называл «последним уклонением нарождающейся свободы»[23].

Мольба Рёдерера не удостоилась даже ответа. Другие лица, имевшие право быть лучше выслушанными, поскольку они заседали в советах монарха, также высказывались за помилование — с двойной целью: привлечь к трону народные симпатии и подорвать влияние мэра, покрыв его насмешкой, неизбежно постигающей политического деятеля, которому отказывают в выгоде лёгкого мученичества. Они замечали, что, поскольку, по всей вероятности, рано или поздно придётся смириться с восстановлением Петиона и Манюэля в должностях, государю гораздо лучше самому даровать прощение, чем допустить, чтобы его враги вырвали его у Национального собрания; что в предстоящем постановлении, впрочем, легко будет воздать каждому своё: похвалить поведение департамента, осудить поведение муниципалитета и предоставить судам преследование второстепенных зачинщиков, которым следовало вменить вещественное нарушение королевского жилища[24].

Быть может, это мнение и возобладало бы, если бы не новые резкие выражения и дерзкие угрозы друзей Петиона. В воскресенье 8 июля они заставили хлынуть к Собранию массу парижских просителей, всегда бывших в их распоряжении.

Законодательный корпус сначала, казалось, хотел соблюсти конституционные формы: он дважды декретировал простую отсылку всех якобинских жалоб в комиссию Двенадцати. Но дважды левые требовали пересмотра этого голосования. По своему обыкновению, Собрание не чувствовало в себе силы долее противиться настойчивости Горы. Утомившись борьбой, оно допустило просителей к решётке.

Послушаем сначала секцию Гравилье:

«Законодатели, плачущая семья требует у вас отца, которого магистраты, злоупотребив самым преступным образом своими обязанностями, только что лишили его должности. Вся столица в трауре, и этот траур скоро станет трауром всей империи. Мы просим вас вернуть нам друга, верного магистрата и принять во внимание, что обстоятельства, избранные недоброжелательством для этого акта строгости, слишком настоятельны, чтобы допускать малейшее промедление».

Не менее резким был адрес секции Королевской площади, прочитанный Тальеном, который начинал с ролей политического статиста, ожидая, когда его можно будет причислить к первым сюжетам демагогической труппы.

«Великое преступление только что совершено. Город Париж в скорби... Петион отстранён от должности контрреволюционной директорией; Петион, наш отец, наш друг, находится под ударом обвинения. Пусть и нас закуют в цепи — они покажутся нам легче, когда мы разделим их с Петионом. Мы пришли вложить в лоно Законодательного корпуса полнейшее одобрение поведению мэра и муниципального корпуса в дни, предшествовавшие 20 июня и следовавшие за ним... Мы требуем, чтобы вы рассудили, какая администрация виновна: муниципалитет ли, который пощадил кровь, или директория, которая хотела её пролить».

XIII

Каждый день просители приходили не только от имени Парижа, но, как они утверждали, и от имени различных провинциальных городов, и требовали повелительным тоном немедленного восстановления мудрого Петиона и добродетельного Манюэля — этих двух столпов патриотизма. Почти всегда они повторяли урок, вручённый им в готовом виде. Забыв, что назвался делегатом города Дижона, один из них воскликнул: «Если до 14 июля победителям Бастилии не вернут их отца и их трибуна, праздник Свободы будет омрачён; мы не знаем, где остановится отчаяние патриотов»[25].

Напрасно правые замечали, что непрестанно от имени народа представляются адреса, не выражающие даже желания ни одной секции; напрасно доказывали они, что восемьдесят два департамента не для того прислали своих депутатов в Париж, чтобы восемьдесят третий узурпировал всё их время. Депутатам, которые так думали и говорили, отказывали в слове, а первый встречный получал право декламировать у решётки против всех конституционных властей. Не доходя до того, чтобы всегда соглашаться с просителями, большинство выслушивало их терпеливо, часто благосклонно, оказывало им почести заседания и невозмутимо отправляло их ораторские излияния в комиссию Двенадцати.

Лишь однажды противники якобинцев смогли добиться милости быть выслушанными со своими справедливыми упрёками. Многочисленная депутация, посланная городом Гавром, представила 6 июля адрес, начинавшийся так:

«Законодатели, мы пришли требовать отмщения против тех, кто 20 июня нарушил убежище представителя нации и оскорбил его священную и неприкосновенную особу... Да, отмщения против администрации, слабой или преступной, которая, вместо того чтобы заставить исполнять законы, имела дерзость узаконить злодеяние; отмщения против мятежников, которые, попирая Конституцию, потребовали с кинжалом в руке...»

— Долой, долой! — режут трибуны. — Это ложь, ложь! — «Вы услышали мятежников, признающих себя виновниками 20 июня», — говорит Даверуль. — «Парижан выслушивают всякий раз, как они приходят, — добавляет Майерн, — надобно выслушать и граждан Гавра». — «Они не из Гавра, — возражает Тюрио. — Под их адресом лишь выпрошенные подписи». — «Это почтенные негоцианты, — отвечает Кристина, — те самые, которые снабжали Париж в 1789 году, которые кормили этот самый народ с трибун, чьи оскорбления они терпят сегодня».

Ласурс и Лакруа обличают петицию как стремящуюся внушить, будто французский народ — лишь шайка разбойников и виновен в деянии, которое есть лишь следствие заблуждения немногих. Они требуют отсылки клеветы в чрезвычайную комиссию, удаления клеветников из зала Собрания; однако после двух последовательных проверок декретируется, что просителям будут оказаны почести заседания; они садятся на назначенную им скамью, рукоплескаемые правыми, освистанные трибунами и левыми[26].

Иногда Гора, стараясь переменить почву обсуждения, требовала смещения директории департамента, утверждая, что виновна только она. Ибо, говорил Герен, один из её самых крайних ораторов, если муниципалитет не исполнил своего долга 20 июня, то департаменту надлежало заменить его; а если исполнил, то почему департамент позднее произвольно отстранил мэра и прокурора коммуны?

При всей своей доброй воле Собрание не могло принять такое рассуждение и, вынужденное ждать королевского решения по делу Петиона, возобновило обсуждение предложений чрезвычайной комиссии.

8-го числа им занялись лишь на минуту, по поводу известий из Ардеша, где роялисты заняли Жалес и замок Банн. Ламарк потребовал немедленного объявления отечества в опасности, и Собрание приняло его предложение в принципе.

На заседании 9-го слово было предоставлено Бриссо, который отказался от него 7-го, чтобы, как он сказал, смягчить всё слишком резкое в своей речи. Но поскольку обстоятельства

переменились за сорок восемь часов, жирондистский депутат счёл нужным восстановить все резкости, которые обещал вычеркнуть в момент знаменитого примирения[27].

Государственный муж Жиронды начинает свою речь так:

«Отечество в опасности лишь по одной причине: один человек парализовал национальные силы. Вам говорят, что надобно бояться короля Прусского и короля Венгерского. Поражите двор Тюильри — и вы поразите их!»

После такого вступления Бриссо излагает великий внутренний и внешний заговор, в котором, по его словам, глава исполнительной власти является главой, добровольным или вынужденным. По вине исполнительной власти наши армии недостаточно сильны, чтобы прикрыть границы; по её вине коалиция могла заставить нацию врасплох; по её же вине самое пагубное брожение поддерживается внутри страны сообщниками эмигрантов, неприсягнувшими священниками и даже так называемыми конституционными органами, как, например, директория департамента Соммы и особенно директория департамента Парижа. Разве последняя не пыталась поднять все департаменты против столицы, не продиктовала петицию двадцати тысяч и петицию против лагеря, не нападала на народные общества, не поддерживала Лафайета и не преследовала парижский муниципалитет?

В заключение Бриссо требует наказания Лафайета и его приверженцев, солидарной ответственности министров, не пользующихся более доверием нации, немедленного объявления отечества в опасности и особенно образования тайного комитета, совмещающего функции надзорных комитетов и чрезвычайной комиссии и специально ведающего мерами общей безопасности.

Это был комитет общественного спасения, предложенный в разгар монархии. Этот комитет был учреждён год спустя; одной из его первых жертв должен был стать Бриссо. Так почти всегда обращается против самого изобретателя орудия, выкованное им для поражения своих врагов.

Едва оратор сошёл с трибуны, как министр юстиции, вызванный к решётке, приходит объявить, что король ещё 7-го санкционировал закон, принятый 6-го о формальностях, которые надлежит исполнить для объявления отечества в опасности. Если решение об отстранении мэра задерживается, то, добавляет он, единственно потому, что департамент ещё не прислал всех документов.

При этих словах Дюсо встаёт и требует, чтобы генеральный прокурор-синдик был вызван к решётке для отчёта о задержках, причиной которых он является. «Виновен один лишь департамент, — говорит Герен, повторяя своё предложение. — Пусть исполнительная власть примет против него меры». Тюрю добавляет: «На земле не осталось бы добродетели, если бы господин Петион не был честным человеком»[28].

Правые разражаются смехом. Но большинство не удовлетворяется двойным министерским докладом и декретирует, что на следующий день в полдень министерство снова явится с более полным докладом о внутреннем и внешнем положении.

Согласно этому декрету, все министры являются на заседание 10 июля; слово от их имени берёт опять-таки министр юстиции, наименее антипатичный Собранию.

В очень пространной речи[29] Дежолли старается доказать, что фанатизм не есть главная причина внутренних разделений, но что её надобно искать в существовании этих обществ друзей Конституции, которые распространили свои ответвления по всем коммуна́м Франции, неоднократно нарушали тайну переписки, вызывали магистратов к своей решётке, порабощали муниципалитеты, совершали самые явные посягательства на ту самую Конституцию, чьими друзьями они ложно себя именуют.

Министр заканчивает свой доклад заявлением, которое, как воображали он и его коллеги, должно было произвести очень сильное впечатление на Собрание, но которое оно, напротив, встретило с полнейшим равнодушием[30].

«Министры, — говорит он, — изменили бы своему долгу перед Собранием, если бы не заявили, что при таком положении вещей, или, вернее, при этом ниспровержении всякого порядка, им невозможно поддерживать жизнь и движение обширного тела, все члены которого парализованы; что не в их власти защитить королевство от анархии, которая при этом бессилии публичной силы и унижении конституционных властей грозит всё поглотить... Приняв министерские должности лишь с желанием и надеждой служить Конституции и делать возможно больше добра, мы должны были решиться покинуть их, как только бессилие делать добро стало для нас очевидным. Вследствие этого мы все подали сегодня утром прошения об отставке»[31].

Коллективная отставка ответственных агентов исполнительной власти в другое время могла бы быть фактом весьма важным. Но после удаления жирондистского министерства Людовик XVI, то ли по расчёту, то ли, быть может, по бессилию, выбирал себе в официальные советники людей честных и нередко мужественных, но неизвестных, без веса и без политического прошлого, которые не могли иметь никакого авторитета у представителей нации, никакого влияния на общественное мнение и которых сам он, надо сказать, по-видимому, не принимал всерьёз[32].

Эти министры, сменявшиеся с приводящей в отчаяние быстротой, вели текущие дела, являлись в Законодательное собрание всякий раз, когда оно их вызывало, делали самые ничтожные доклады в самые критические моменты и слагали с себя должности, как только их несостоятельность становилась публично очевидной. Они были, по правде говоря, простыми письмоводителями. Но во все времена и при всех режимах, сведена ли исполнительная власть к состоянию совершенного бессилия или же она, напротив, уничтожила все живые силы нации и сосредоточила в своих руках абсолютное могущество, система письмоводителей всегда приводит к одному и тому же результату — к полному равнодушию публики. Зачем тревожиться о возвышении или падении людей, которые не могут оказать ни малейшего действия на действительный ход дел?

XIV

При этих непрерывных сменах имён, лиц и систем невозможно было иметь план, разумно изученный, глубоко продуманный, проводимый с настойчивостью и энергией. А между тем как было устоять против бури, в которую королевская власть была уже так сильно вовлечена? Как среди стольких подводных камней достичь какой-либо гавани? Да и какой мог быть гавань, в которой королевская власть искала бы убежища? Этого не мог бы сказать никто, а монарх менее всех. Без компаса, без проводника Людовик XVI то отдавался с закрытыми глазами всё прибывавшему потоку революции, то пытался с ним бороться. Меры, которые он накануне упорно отвергал, он принимал на следующий день, лишь бы они были представлены ему в другой форме; он следовал поочерёдно самым противоположным направлениям, соглашался на самые противоречивые решения; но главное — своими затяжными колебаниями он ухудшал самые тяжёлые положения.

Уже четыре дня департаментское постановление о Петионе и Манюэле было официально известно. Исполнительная власть ещё ни подтвердила, ни отменила его.

Между тем массы проявляли своё обычное воодушевление ко всему, что имеет вид гонения; само Собрание спешило получить возможность конституционно заняться делом, решение которого приближавшаяся федерация делала всё более настоятельным.

10-го исполнительная власть была в силу особого декрета обязана принять решение.

Уже на следующий день в публичном заседании прочли следующее письмо:

«Париж, 11 июля 1792 года, IV год свободы.

Господин председатель,

я получил вчера, в десять часов вечера, декрет Национального собрания от того же дня, гласящий, что исполнительная власть отчитается в сегодняшнем утреннем заседании о решении, которое она приняла или должна была принять по отстранению от должности мэра и про-

курора коммуны Парижа. Несколькими часами ранее я получил вместе с письмом генерального прокурора-синдика протокол заседания совета департамента от 6 сего месяца, а также доклад и заключения генерального прокурора. Мой долг предписывал мне тогда же ознакомить с состоянием дела господ Петиона и Манюэля и пригласить их дать мне, письменно или устно, разъяснения, которые они сочли бы ещё полезными для своей защиты. Господин Петион, отвечая мне, что не может явиться по приглашению, которое недоброжелательство не преминет истолковать неблагоприятно, не прислал мне новых документов. Господин Манюэль до сих пор медлит с ответом. При таких обстоятельствах, господин председатель, я предполагаю представить сегодня вечером совету доклад по этому делу. Если, однако, его важность и множество относящихся к нему документов заставят меня отложить его до завтра, король сообразовал бы обещать своим министрам чрезвычайное заседание. Смею уверить Национальное собрание, что оно будет уведомлено в самый день решения совета.

С уважением, господин председатель, и проч.

ДЕЖОЛИ, министр юстиции».

Весьма вероятно, что министерское письмо было на некоторое время задержано услужливыми друзьями, быть может даже отнесено к Петиону, чтобы он заранее составил ответ, ибо иначе трудно было бы объяснить, каким чудом тотчас после сообщения министра юстиции председатель мог прочесть Национальному собранию следующую записку:

«Париж, 11 июля 1792 года, IV год свободы.

Господин председатель,

вот новая отсрочка, испрашиваемая министрами для решения о моём отстранении. Закон не устанавливает срока для решения короля; но разум, справедливость, общественный интерес не допускают, чтобы срок был неопределённым. Уже несколько декретов предписали министрам сообщить о решении исполнительной власти. Эти декреты обходятся скандальным образом и под разными предлогами. Нетрудно проникнуть в причину этих нарочитых медлительностей. Я, однако, не должен вечно быть игрушкой интриг и страстей. Здесь налицо явный отказ в правосудии, а какими средствами я могу прекратить его? Я не могу обратиться в суды; мне остаётся лишь прибегнуть к вам, господа, и я всего ожидаю от вашей справедливости.

С уважением, господин председатель, и проч.

Мэр Парижа, ПЕТИОН».

Письмо Петиона электризует левых, которые добиваются декрета, что исполнительная власть обязана в течение двадцати четырёх часов высказаться о сохранении или отмене департаментского постановления.

Уже в тот же вечер видно, как к решётке стекается весь цвет санкюлотов Парижа и департаментов. Мы не будем задерживаться на описании зрелища, которое представляют эти депутаты, составленные почти неизменно из одних и тех же лиц и приходящие произносить одни и те же рапсодии. Лишь одна заслуживает особого упоминания: она состоит из шестидесяти рабочих секции Гравилье, которые, вернувшись с Марсова поля, где трудились над приготовлениями к празднику Федерации, дефилируют с лопатами на плечах и корзинами за спиной.

Они так резюмируют свои требования, и наивная грубость их слога соответствует небрежности их вида:

«Петион и Манюэль восстановлены в должностях; директория распущена; Лафайет предан суду; а для народа — средства мирно и законно устроиться в состоянии сопротивления угнетению».

Почти в то же мгновение депутация муниципального корпуса приходит объявить, что мировые судьи Менжо и Файель выдали против Петиона и Манюэля приказы о приводе.

«Это нарушение закона, — восклицает Руйе, — посягательство на Конституцию, которая объявила муниципальных офицеров неприкосновенными при исполнении их обязанностей». — «Я доношу Собранию, — добавляет Мазюйе, — на комитет мировых судей, этот кро-

вавый трибунал[33], учреждённый в Тюильри, который оттуда выдаёт приказы о приводе не только против мэра и прокурора коммуны, но и против представителей народа». — «Против нас выдано тридцать приказов о приводе! — восклицает Камбон. — Я требую, чтобы Собрание объявило себя непрерывно заседающим».

Собрание, которое, кажется, заражается напускным страхом левых, постановляет, что заседание продлится всю ночь, — было уже половина четвёртого утра. Но несколько мгновений спустя, после того как граждане из предместья Сен-Марсель сообщили, что они пришли из мэрии и нашли Петиона мирно спящим, председатель прекращает прения и переносит заседание на тот же день, 12 июля, на 9 часов.

XV

В течение этого заседания 12-го было наконец получено королевское послание, которое попросту подтверждало отстранение от должности мэра и прокурора коммуны.

Почти тотчас после этого председатель объявляет, что Петион просит допустить его к решётке. Собрание не может заставить ждать короля минуты. Итак, он входит, приветствуемый громовыми рукоплесканиями; он обводит вокруг себя удовлетворённым взглядом и, приняв вид не смиренного обвиняемого, а торжествующего обвинителя, начинает так:

«Я предстаю перед вами с спокойствием, которое даёт совесть без упрёка; я требую строго правосудия, требую его для себя, требую его для моих гонителей. Я не испытываю потребности оправдываться, но испытываю потребность, и весьма повелительную, отомстить за общее дело».

Затем Петион нападает на совет департамента — честолюбивый и узурпаторский орган, который, подписав своё знаменитое постановление, оказался виновным в скандальном пасквиле, полном ненависти, зависти и клеветы...

«Я имею право, — говорит он, — требовать за это блистательного возмещения... Департамент оказал мне услугу, отстранив меня; король оказывает мне другую, подтверждая его постановление. Ничто не может более почтить меня, чем этот сговор воли против честного человека. Представители великого народа, не имейте в этом деле иного милосердия, кроме справедливости. Накажите меня, если я виновен; отомстите за меня, если я невиновен. Я жду с почтительной доверчивостью торжественного декрета, который вы изволите издать».

Снова раздаются рукоплескания, бунтовщики на трибунах кричат во всё горло: «Да здравствует Петион! Да здравствует наш друг!» Почести заседания, естественно, оказываются отстранённому мэру; Собрание поручает комиссии Двенадцати сделать доклад на следующий день и декретирует, что затем будет выносить решение без перерыва. Это достаточно ясно показывало, в каком направлении оно хотело ускорить дело.

Заседание 13-го открылось, по обыкновению, в девять часов, но доклад должен был быть прочитан лишь в полдень. Нужно было не дать вниманию Собрания рассеяться по другим предметам; поэтому Бриссо просит разрешения прочесть документ величайшей важности, образец рассуждения и метода — обвинительное заключение генерального прокурора-синдика департамента. Собрание ему это позволяет. Затем председатель объявляет, что только что получил от Манюэля письмо следующего содержания:

«Париж, 13 июля 1792 года.

Господа,

я лишь оправился от жгучей лихорадки; мне сообщают, что король подтвердил клеветническое постановление департамента; надобно, чтобы я был совсем лишён сил, если не иду показать вам мою совесть и принести вам мою голову.

Но я обещаю, когда несколько поправлюсь, доказать, что 20 июня исполнил свой долг, и посрамить всех моих подлых и трусливых врагов, которые суть лишь враги народа.

У меня хватает сил только подписаться.

МАНЮЭЛЬ, прокурор коммуны»[34].

Председатель только что окончил чтение этого смехотворно напыщенного письма, в котором Манюэль предлагал голову, которой у него никто не просил, как Мюрер, докладчик комиссии Двенадцати, появляется на трибуне.

«Вы должны, — говорит он, — вынести решение по делу, которое занимает общественное мнение, разделяет умы и, приводя в действие личные привязанности, лишь стремится возбудить страсти. Недоступные всяким посторонним впечатлениям, невозмутимые среди потрясения, испытываемого и умами, и чувствами, законодатели видят лишь закон, слышат лишь его язык. Этот язык и будет говорить вам ваша чрезвычайная комиссия Двенадцати»[35].

Докладчик разбирает один за другим упрёки, сделанные мэру, и, принимая большинство оправданий, изложенных в объяснении Петиона, заключает к отмене его отстранения. Что касается прокурора коммуны, который недостаточно проявил себя для восстановления спокойствия, то Двенадцать считают нужным отложить своё решение до тех пор, пока Манюэль не будет выслушан. «Верните же, — говорит Мюрер в заключение, — верните к его обязанностям магистрата, который не заслужил отстранения от них, но в то же время напомните народу, этому народу, который приходит сегодня ходатайствовать о его восстановлении, что он сам его скомпрометировал; напомните ему, что если он хочет быть счастливым и свободным, если хочет пользоваться правами, которые вернула ему Конституция, он никогда не должен забывать уважения и повиновения, должных закону и властям, учреждённым им и для него».

Благодаря этой концовке Мюреру рукоплещут почти единодушно. Как только водворяется тишина, Буланже требует чтения главных документов дела. «Зачем? — восклицают левые. — Они известны. Они к тому же незаконны, — добавляют некоторые члены, — ибо свидетели не приносили присяги и, следовательно, не заслуживают никакого доверия». Собрание декретирует, что документы читаться не будут. «Прекрасно, — иронически говорит Горгюро, — предлагаю распространить это постановление на все суды: декретируйте, что для вынесения приговора не нужно более документов!» Собрание тем не менее настаивает на отказе в чтении, которого упорно требуют правые. Несколько членов этой стороны заявляют, что они не примут никакого участия в прениях, не будучи достаточно осведомлены.

Дельфо, однако, удаётся завладеть словом, и он начинает резкую филиппику против Петиона. Сделал ли мэр Парижа всё, что был должен? Нет. Пользуясь безграничным влиянием на народ, зная намерения сборища, он должен был следовать за ним до Национального собрания, до дворца короля, и, если бы убеждение оказалось бесполезным, должен был вспомнить поведение мэра Этампа, смерть добродетельного Симоно...

Слева раздаются насмешливые восклицания, справа — одобрительные крики; среди шума Дюмолар произносит прекрасные слова: «Ропот анархии чтит маны добродетельного магистрата». — «Не лучше ли, — продолжает Дельфо, — умереть с честью, чем жить трусом и без чести?» Шум достигает размеров скандала, когда Дельфо напоминает о банкете, собравшем накануне 20 июня Петиона и триста его друзей под кущами Елисейских Полей. «Это ложь, ложь!» — отвечают несколько голосов. Иснар, Базир, Гюаде, Торне, Бельгард бросаются на середину залы, обвиняя оратора в клевете. «Вот сотрапезники и рассердились!» — кричат справа. Гюаде объясняет, что действительно он и триста депутатов праздновали на банкете годовщину отмены дворянства, но утверждает, что Петион, достойный там быть, на нём не присутствовал. Его коллеги подтверждают это утверждение. Напрасно Дельфо уверяет, что знает этот факт от нескольких других депутатов; беспрестанно прерываемый, беспрестанно осыпываемый трибунами, он в конце концов отказывается от слова.

Счастливее его другой член правой, Дальма из Обена, добивается, чтобы его выслушали. «Великое преступление, — говорит он, — было совершено: величие нации было оскорблено в лице её главы». — «Нет главы!» — восклицают несколько голосов. — «Вооружённая толпа, попирая законы, оскорбила его особу. Где были тогда магистраты народа? Был ли у них пункт сбора? Правда, в некоторых местах находились муниципальные офицеры, но повсюду мун-

ципальная власть отсутствовала. Мэр, однако, прибывает достаточно рано, чтобы быть свидетелем бесчинств, и поздравляет народ с его твёрдостью. Ещё вчера этот самый мэр не оскорбил ли ваше негодование, заявив, что всё было уважено? Он говорит вам о воле окружающего его народа; он, без сомнения, хочет говорить о тех, кто вместе с ним нарушил закон. Он говорит вам о деспотизме департамента; он будет говорить вам о деспотизме всех властей, пока не будет возведён в ту диктатуру, которую ему готовят». Правые требуют напечатания столь мужественной речи, но большинство, заранее стыдясь того, что собирается сделать, отказывает.

Даверуль пытается возобновить тезис, защищавшийся Дальма, но вскоре смех заглушает его голос. «Раз уж мне суждено быть выставленным на посмеище, как гистриону, — гордо восклицает оратор, — я больше не буду говорить в этом собрании»[36]. И он сходит с трибуны. Взаимные упрёки скрешиваются и сталкиваются. Тарбе, справа, иронически требует, чтобы выслушивали только тех членов, которые хотят говорить в угоду зрителям. Сама левая протестует против нетерпимости трибун. Карно-младший предлагает отправлять на три дня в Аббатство члена, который будет нарушать порядок заседания. Жиро (из Эна), получив слово для внеочередного предложения, говорит: «Департаменты будут судить о том приговоре, который мы сейчас вынесем. Сами парижане будут судить о нас, когда пройдёт их минута опьянения. Я требую поименного голосования». Другой член правой кладёт на стол проект декрета следующего содержания:

«Национальное собрание, принимая во внимание, что всей Франции доказано, что если муниципалитет Парижа и имеет волю, то не имеет силы помешать нескольким лицам из предместий Сент-Антуан и Сен-Марсель собираться с оружием всякий раз, когда им заблагорассудится, декретирует, что впредь будет проводить свои заседания в Руане или в любом другом городе королевства, где уважают законы».

Большинство отвергает все контрпроекты, все поправки, отказывается от поименного голосования и принимает, без участия правых в голосовании, декрет, представленный Мюре-ром:

«Статья I. Отстранение от должности, произнесённое против мэра Парижа постановлением департамента от 6 июля и подтверждённое прокламацией короля от 11 того же месяца, отменяется.

Статья II. Национальное собрание откладывает решение по отстранению прокурора коммуны до тех пор, пока он не будет выслушан.

Статья III. Передача дела в суды отменяется во всём, что касается мэра и муниципальных офицеров.

Статья IV. Национальное собрание декретирует, что исполнительная власть в течение дня разошлёт две заверенные копии настоящего декрета: одну — департаменту, другую — муниципалитету».

Делая видимость уступки правым, Собрание декретирует, что министр юстиции в трёхдневный срок представит отчёт о преследованиях, которые должны были быть возбуждены против зачинщиков и виновников событий 20 июня.

XVI

На следующий день, 14-го, праздновался праздник Федерации. Петион явился на нём триумфатором, влача, так сказать, Людовика XVI за своей колесницей, как некогда победоносный Цезарь влачил побеждённых царей Галлии. Но отложим до следующей книги всё, что касается этого торжества — последнего, на котором королевской власти суждено было появиться, прежде чем быть сражённой демагогической секирой, — и проследим до конца последние разветвления событий 20 июня.

Постановление об отстранении ещё существовало временно для Манюэля, и победа якобинцев не могла быть полной, пока прокурор коммуны в свою очередь не одержит верх над постановлением департамента и королевским решением.

16 июля Манюэль предстаёт перед решёткой Собрания. Он не мог раньше ответить на оскорбительные подозрения, предметом которых был: он был болен. Нагромождая ложь на клевету, напыщенные сравнения на нелепые антитезы, он извиняется, что ещё занимает законодателей днём, который, по его словам, стал знаменит лишь потому, что двор пожелал наполнить его всеми своими пороками. Он восхваляет муниципалитет и тех чистых патриотов, которые пришли 16 июня водрузить пику в зале ратуши, рядом с мэром. «Там и было её место, — восклицает он, — ибо у Минервы всегда есть таковое». Вторжение во дворец трогает его мало: дворцы королей должны быть открыты, как церкви, и если бы Людовик XVI имел душу Марка Аврелия, он спустился бы в свой сад, чтобы вкушать удовольствие, которого он более недостоин...

Правые встречают эти наглые нелепости ропотом; трибуны рукоплещут им до изнеможения.

Манюэль продолжает: «Никогда в Тюильри не было меньше воров, чем в тот день, ибо придворные обратились в бегство; красный колпак почтил голову короля... ему следовало бы быть его короной. Всё прошло в величайшем спокойствии, потому что мэр Парижа проявил у трона власть добродетели. Что касается меня, то, проходя по саду Тюильри без моей перевязи прокурора коммуны, скорее беседуя, чем приказывая, я тем лучше мог успокаивать страсти».

Чтобы подчеркнуть величие своего поведения, Манюэль громит поведение короля и Лафайета. «Защищайтесь! — кричат ему справа. — Но не клеветайте!» Поклеветав ещё, Манюэль отдаётся всему разгулу своего гиперболического воображения: «С тех пор под сводами Лувра, у слияния с цивильным листом, прорывается другой канал, который во тьме роет темницу Петиону; департамент, поражая муниципалитет, показывает, как на празднике закона он изображал закон под видом крокодила[37]... Я требую у вас моей чести, — говорит он в заключение, — ибо я исполнил свой долг; я требую у вас моего места, ибо оно усеяно терниями и опасностями. Мне будет дозволено отдохнуть лишь тогда, когда вы спасёте отечество».

Несмотря на резкие протесты правых, Собрание голосует прокурору коммуны почести заседания и напечатание его речи.

Однако комиссия была в затруднении, как мотивировать полное оправдание магистрата, чьё преднамеренное бездействие 20 июня было явной изменой всем его обязанностям. Она не торопилась с докладом. Сообщникам Манюэля пришлось 23 июля представить новое требование, краткая форма которого достаточно показывала, что настало время повиноваться:

«Законодатели, Манюэль необходим на своём посту. Нижеподписавшиеся его сограждане настоятельно требуют его у вас».

В тот же вечер прения были открыты; те же фразы, которые произносились в пользу Петиона, были повторены для прославления Манюэля. Напрасно Дельфо и Троншон ещё раз произнесли мужественные слова — всё было заранее решено: оправдать всех. Отстранение прокурора коммуны было отменено, как ранее отстранение мэра, под рукоплескания трибун.

Людовик XVI санкционировал декрет в пользу Манюэля, как уже санкционировал декрет о Петионе. Желая оставить Собранию всю ответственность за это двойное восстановление, он не заставил ждать своей подписи под оправданием от 23-го, как не заставил ждать её под оправданием от 13-го.

Но партийные страсти были возбуждены столь яростно, что никто не поставил королю в заслугу его самоотречение. Оно прошло совершенно незамеченным.

Зато возвращение обоих магистратов было обставлено величайшим блеском. 14 июля Петион был предметом настоящей овации на Марсовом поле. 25-го, в торжественном заседании генерального совета коммуны, Манюэль озаменовал своё возвращение следующей речью:

«Господа, я снова занимаю своё место, ибо не заслужил его потерять. Департамент и король могли отстранить меня, но я был сильнее их: за меня были моя чистая совесть и голос — уже не говорят „честных людей“, а „людей добра“. Коммуне не пристало рукоплескать воз-

вращению своих магистратов: им воздали должное; они не пожелали бы помилования. Как и они, Национальное собрание исполнило свой долг. Моя почётная ссылка доставила мне удовольствие, которое я буду чувствовать всю жизнь: я получил от народа такие знаки уважения и привязанности, каких дезертиры коммуны никогда не получают при дворе королей, которым пока ещё есть что давать, кроме денег. Я не нуждался в этом поощрении, чтобы служить ему: и по принципу, и по чувству я всегда защищал его права, а с моим характером не меняются. Моё честолюбие было и всегда будет одним и тем же: заслужить уважение добрых граждан и ненависть злых»[38].

13 июля, как мы помним, Национальное собрание, амнистируя мэра Парижа, декретировало, что министр юстиции в трёхдневный срок представит отчёт о преследованиях, которые должны были быть возбуждены против зачинщиков и виновников событий 20 июня.

К назначенной дате Дежоли, хотя ещё не получил официального уведомления о декрете, был в состоянии повиноваться. Мировой судья секции Тюильри составил общий доклад о том, что им сделано и что он предполагал сделать. Министр переслал его председателю, но Собрание едва обратило внимание на это сообщение[39]. Оно было в этот момент всецело занято обвинениями, которые левые не переставали возобновлять против директории департамента, осмелившейся наложить руку на ковчег завета момента — парижский муниципалитет. В самом деле, не было ничего логичнее требования упразднить этот орган; разве он не был только что поражён бессилием?

Некоторые секции, где ультрареволюционные идеи господствовали почти безраздельно, оказали своё обычное давление, чтобы Собрание сделало рациональные выводы из оправдания Петиона. «Почему, — восклицали на заседании 19 июля делегаты секции Ломбар, — декрет, вернувший нам добродетельного, неподкупного Петиона, не произнёс смертного приговора контрреволюционному департаменту? Почему не рассматривают преступное поведение мировых судей, которые выдают в Тюильри приказы о приводе, являющиеся настоящими летр-де-каше?»

Члены директории департамента Парижа не пожелали, чтобы их личности более обсуждались в Собрании. Восемь из девяти, во главе с почтенным герцогом де Ларошфуко, подали в отставку.

Уходя, члены директории уступили вполне естественной обидчивости; однако, на наш взгляд, они были неправы. Законным порядком они могли быть отрешены от должности лишь за тяжкое нарушение; само Собрание постыдилось бы пойти на такое решение, ибо не осмелилось же оно 8 августа, как мы увидим, предать Лафайета суду. В разгар революционных кризисов государственный служащий — как часовой: он никогда не должен добровольно покидать пост, на который призван доверием своих сограждан. Нельзя допускать, чтобы партии могли думать, будто, отравляя своим противникам жизнь отвращением, скукой и оскорблениями, они сумеют сломить их мужество и решимость.

Примечания:

[1] Мы могли бы без конца нагромождать факты, доказывающие, в какое презрение впали закон и учреждённые им власти. В конце этого тома читатель найдёт три документа, дающих точное представление о состоянии умов в эти времена анархии. Первый исходит от директории департамента; недоверие к исполнительной власти скрывается в нём под формой иронии. Во втором мы видим, как муниципалитет важного города (Шартра) отказывается повиноваться департаментским властям и оспаривает, вероятно, по внушению Бриссо, Петiona и Сержана, — все трое были родом из этого города, — законность акта исполнительной власти. Третий показывает, до какой степени простые частные лица могли безнаказанно доходить в своей наглости по отношению к конституционным властям. Он особенно замечателен тем, что показывает нам молодого Робеспьера, который в Аррасе со всем пылом своего характера принимает на себя роль трибуна, какую его брат должен был играть более осторожно у решётки Законодательного собрания в течение всего периода от 10 августа до созыва Конвента.

[2] Мы разыскали самый текст доноса Жансонне; он состоит из простой выписки из письма, которое тот прочёл Собранию и которое лишь засвидетельствовал. Эта выписка находится в «Монитёре» от 1 июля, с. 759.

Мы также разыскали ответ, который Шарль Ламет дал на этот донос, как только он стал ему известен; он столь же благороден, сколь и обстоятелен. Мы приводим его в конце тома.

[3] Гийом был адвокатом и депутатом третьего сословия Парижа в Генеральных штатах. Он написал циркулярное письмо всем своим прежним коллегам по Учредительному собранию, приглашая их поддержать в своих департаментах сбор подписей, организованный им в Париже. (Это письмо находится в «Монитёре» от 26 июля 1792 г., с. 871.) Гийом был изображён несколькими корреспондентами, к которым обращался, в частности Гюйо де Сен-Флораном, адвокатом в Арне-ле-Дюке, который позднее вновь появился в Конвенте под именем Флоран-Гюйо, перевернув таким образом своё имя и отбросив «святого», чтобы следовать моде времени. Официальные документы той эпохи представляют такую путаницу, что таблицы «Монитёра», составленные, однако, тщательно, делают из Гюйо два разных лица: одно — члена Учредительного собрания, другое — члена Конвента, не имеющих между собой ничего общего; вот письмо, которое Гюйо написал в «Монитёр» 25 июля 1792 г.:

«Господин редактор,

некий господин Гийом, который не является ни Гийомом Завоевателем, ни Гийомом, торговцем сукном из адвоката Пателена, но Гийомом, торговцем петициями, прислал мне свою петицию, чтобы я дал её подписать жителям Семюра, моим согражданам. Я более не его коллега по Учредительному собранию и тем менее желаю числиться среди его корреспондентов, ибо роль самая презренная в моих глазах — это роль мелкого интригана».

Позднее у Гийома хватило мужества выступить в качестве одного из защитников Людовика XVI перед Конвентом; он был заключён в тюрьму во время Террора, но, забытый в глубине темницы, пережил революционную бурю. Флоран-Гюйо был последовательно послом республики у Гризонов и в Голландии; при Империи он был секретарём совета по призовым делам.

[4] Эта петиция была покрыта подписями, занимавшими двести сорок семь страниц; число их не достигало двадцати тысяч; тем не менее документ остался под этим числом, подобно тому как петиция против лагеря под Парижем получила название петиции восьми тысяч. Мы скоро увидим наступление времени, когда будет достаточно подписать одну из этих бумаг, чтобы лишиться гражданских прав и даже попасть в проскрипционные списки. «Монитёр» 1792 г., с. 768, и «Журналь де Деба э Декре», с. 279, дают почти идентичные версии петиции двадцати тысяч; мы держали в руках её подлинный текст.

[5] Петиции секций Круа-Руж, Фонтен-де-Гренель, Бон-Нувель, Тюильри и Ломбар. См. «Монитор», с. 770 и 774; «Журналь де Деба э Декре», с. 279 и 284.

[6] Была полночь. См. «Монитор», с. 775, и «Журналь де Деба э Декре», № 281, с. 27.

[7] Вот текст второго постановления, принятого директорией департамента Соммы:

«Директория, узнав от своих комиссаров, что в Париже восстановлено спокойствие, что особа короля в безопасности; принимая во внимание, что своим постановлением от 22-го числа она специально поручила своим комиссарам заботиться о безопасности короля и осведомлять её о происках и заговорах, о которых им могло стать известно; но что эти комиссары, не имея в Париже никакого публичного звания, совершенно лишены средств, необходимых для раскрытия смутьянов, постановляет отозвать их и поручить им доложить о настоящем постановлении министру внутренних дел».

[8] Мы пользовались отчётами «Монитёра», «Журналь де Деба э Декре» и «Логографа». Последний, бесспорно, наиболее полон в описании этого эпизода, который большинство наших предшественников даже не упомянули.

В тот же вечер министр внутренних дел написал председателю Собрания письмо, которым инцидент завершился.

«Париж, 2 июля 1792 года, IV год свободы.

Господин председатель,

я проверил факты, о которых был допрошен сегодня утром Национальным собранием, и признал: 1) что департаментское постановление Соммы включено в число документов, относящихся к дню 20 июня, печатание которых я приказал; 2) что я не отдавал приказа о рассылке постановления Соммы по восьмидесяти двум департаментам и что оно не было разослано моими канцеляриями.

С уважением, господин председатель, ваш покорнейший и послушнейший слуга
ТЕРРЬЕ, министр внутренних дел».

[9] Этот циркуляр приведён полностью в «Парламентской истории», т. XV, с. 250.

[10] Впоследствии министр военной администрации при Империи и граф де Сессак.

[11] «Логограф», заседание 3 июля, с. 32.

[12] См. «Логограф», с. 34. «Журналь де Деба э Декре», № 280, с. 11, упоминает лишь о возращении Даверуля. «Монитор», с. 770, ограничивается текстом декрета.

[13] Таково происхождение знаменитых представителей народа при армиях. Вопреки распространённому мнению, эта мысль принадлежит Законодательному собранию и депутату правой — Пасторе, который, конечно, не подозревал, что предлагает меру в высшей степени революционную и что он вручает законодательной власти управление и верховное руководство военными делами.

[14] Любопытно видеть идею, столь часто ставившуюся в упрек жирондистам, высказанную Торне прежде, чем так называемые федералисты хотя бы подумали обсуждать её на своих самых сокровенных собраниях.

[15] Заявление, сделанное 5-го Дежоли, было разрешено Людовиком XVI. Мы разыскали записку, целиком написанную рукой этого государя, которая удостоверяет, что по выходе из заседания 4-го министр юстиции пришёл сообщить королю о возражениях, поднятых левой, и что шепетильный монарх, поразмыслив, счёл нужным сохранить самые выражения своего послания. Записка гласит:

«Я перечитал и рассмотрел, сударь, моё вчерашнее письмо к Собранию и не вижу, чтобы из моих слов можно было вывести дурные заключения. Я остаюсь при мысли, что объяснение новым письмом не было бы ни необходимым, ни достойным; но вы можете отправиться в Собрание и дать это объяснение устно, если будет надобность.

ЛУИ».

[16] «Монитор», № 189, с. 790.

[17] «Журналь де Деба э Декре», № 285, с. 107. «Монитор», с. 794.

[18] См. официальные письма, напечатанные в «Ревю ретроспектив», т. I, 2-я серия, с. 203–204.

[19] См. в «Ревю ретроспектив», т. I, 2-я серия, доклад Гарнье, Левийяра и Демотора.

[20] «Монитор» содержит на с. 827 и 828 доклад Рёдерера почти целиком. Он вставлен в речь Бриссо, о которой мы скажем ниже.

[21] Шесть недель спустя почтенный герцог де Ларошфуко заплатил жизнью за своё мужественное сопротивление народным увлечениям; он был зарезан на руках у жены и матери, на дороге из Руана в Париж, шайкой иступлённых, посланных повстанческой коммуной 10 августа. Мы подробно расскажем о его смерти в одном из следующих томов.

[22] «Монитор», с. 803, № 193, содержит текст этого постановления лишь с подписями председателя и секретаря; мы разыскали самый подлинник этого памятника гражданского мужества, одного из прекраснейших, какие только содержит история нашей страны; он подписан: Ларошфуко, председатель; Брусс, Ансон, Гравье де Верженн, Левийяр, Жермен Гарнье, Демёнье, Дефоконпре, Дюмон, Лефевр д'Ормессон, Барре, Туэн, Андель, Шартон, Байи, Демотор, де Жюссё, Даву, Трюдон, Пинорель; Блондель, секретарь. Рёдереру, в качестве генерального прокурора-синдика, было поручено сообщить постановление генерального совета департамента мэру Парижа. Но, по своему обыкновению, он одновременно написал ему официальное письмо и неофициальную записку. Записка помечена тем самым часом, когда генеральный совет только что вынес свой вердикт (четыре часа утра); послание, сопровождавшее подлинное производство, помечено семью часами позже (одиннадцать часов). Вот оба эти документа, которые нам посчастливилось разыскать.

«Сударь,

имею честь препроводить вам доклад комиссаров, которым поручено рассмотрение дела 20 июня. Сегодня вечером, как только совет утвердит протокол заседания, я позабочусь переслать его вам; он содержит мои заключения, моё мнение и предварительные постановления, к которым мои заключения дали повод.

Генеральный прокурор-синдик департамента Парижа
РЁДЕРЕР».

Записка имеет следующую надпись:

«Господину Петиону лично, в мэрию».

А на внутреннем сгибе: «Вам лично».

«Друг мой, поздравляю вас; совет только что отстранил от должности прокурора коммуны и мэра Парижа. Я не желал вам столько добра, признаюсь; обнимаю вас. Вот уже две ночи я провожу без сна. Совет расходится; четыре часа утра. Я велю напечатать речь, весьма наспех прочитанную мною им по этому делу, и распорядился внести мои заключения в протокол. Хоть бы и мне нашёлся кто-нибудь, кто отстранил бы меня, пока нас не вздёрнут!

РЁДЕРЕР».

Друг в этом случае заставлял магистрата забывать серьёзность положения; он видел в этом отстранении мэра Парижа лишь повод для шутки, лишь случай торжества для Петиона; он желал разделить его участь и хотел быть повешенным вместе с ним. Его последнее желание едва не сбылось. Менее чем через год Рёдерер был включён 2 июня 1793 г. в проскрипцию Петиона и его сторонников; он был вынужден скрываться и обязан жизнью лишь самоотверженности нескольких друзей. Счастливее Петиона, он пережил революционную бурю, стал графом Империи и отдыхал на курульном кресле сенатора от невзгод, перенесённых им в качестве генерального прокурора-синдика департамента Парижа.

[23] «Хроника пятидесяти дней», с. 172–173.

[24] Дежоли, новый министр юстиции, получил от короля поручение сделать доклад по этому делу в совете вместо министра внутренних дел Террье-Монсьеля, который устранился

под предлогом, что, будучи обязанным предоставлять официальные сведения департаменту, он должен взять самоотвод. Дежоли подготовил два проекта королевского постановления: один в духе милосердия, другой в духе строгости. Возобладал последний; он находится в «Монитёре», с. 822. Наши разыскания позволили нам найти и контрпроект. Мы приводим в конце этого тома этот документ, интересный во многих отношениях.

[25] «Журналь де Деба э Декре», № 289, с. 157.

[26] Эта сцена описана в «Журналь де Деба э Декре», № 284, с. 84–87, и в «Логографе», с. 232–236. «Монитёр» не говорит о ней ни слова. По одному этому примеру можно судить о его беспристрастии и точности.

[27] Речь, или, вернее, докладная записка Бриссо, содержащая общую картину положения Европы со времени Французской революции, занимает не менее семи столбцов «Монитёра».

[28] «Журналь де Деба э Декре», № 287, с. 133. «Монитёр», с. 807.

[29] «Монитёр», с. 809, 810 и 811.

[30] См. документ, приложенный к докладу Гойе о бумагах, найденных в железном шкафу, под шифром DXXI. Шесть министров заявляют в нём Людовику XVI, что решились подать в отставку, дабы доказать нации, что Национальное собрание действует так, чтобы уничтожить всякое правительство, и что есть основание думать, что подобное решение произведёт весьма значительное впечатление на общественное мнение. Пятеро из этих министров настояли на своём решении, один лишь отказался от того, что торжественно объявил; это был как раз тот самый, который говорил от имени своих коллег. Дежоли сохранял печати до самого падения монархии и был вынужден, как мы увидим в книге VIII, приложить их к декрету о низложении монарха. Конечно, Людовик XVI не подозревал, когда вручал их Дежоли, для какого конечного употребления они должны были послужить.

[31] «Журналь де Деба э Декре», № 888, с. 446. «Монитёр», с. 811.

[32] Мы разыскали письма, которыми Людовик XVI уведомлял Законодательное собрание о назначении или отставке своих официальных советников. Эти письма написаны целиком рукой короля, на клочках бумаги, которые, конечно, не имеют ничего официального; но, с другой стороны, они контрастированы министром, что лишает их всякого характера частной переписки.

[33] Жирондист Мазюйе обличал 12 июля 1792 г. кровавый трибунал, который, по его словам, заседал в Тюильри и который был совершенно невиновен в приказах о приводе, в выдаче которых его обвиняли против тридцати депутатов. Какое имя даст он революционному трибуналу, который отправит на эшафот 31 октября 1793 г. двадцать двух его друзей, а его самого приговорит к смерти (29 вантоза II года) на основании простого установления его личности? Конвент объявил его вне закона за то, что он уклонился от приказа об аресте, изданного против него.

[34] «Монитёр» даёт текст этого письма на с. 828. Мы держали в руках подлинник и установили, что подпись действительно сделана иным почерком, чем текст письма.

[35] См. доклад на с. 828–830 «Монитёра».

[36] Даверуль, голландский патриот, нашедший убежище во Франции, которого департамент Арденны послал заседать в Законодательном собрании, несколько дней спустя подал в отставку и отправился в армию, где имел чин полковника. После событий 10 августа, которые он так хорошо предчувствовал, Даверуль лишил себя жизни, чтобы не попасть в руки своих врагов.

[37] «Логограф», с. 211 тома XXIV.

[38] Менее чем через год Манюэль, став мишенью самых яростных угроз со стороны трибун Конвента, подал 19 января 1793 г. в отставку с депутатского звания и удалился в Монтаржи, свой родной город. Там он едва не был растерзан чернью. Вырванный окровавленным

из рук убийц, он был препровождён как пленник в Орлеан, оттуда передан революционному трибуналу Парижа и приговорён к смерти 27 брюмера II года (17 ноября 1793 г.).

Таковы были знаки уважения и привязанности, которые дал ему в 1793 г. этот народ, столь исступлённо ему рукоплескавший в июле 1792 г.!

[39] Мы приводим в конце этого тома письма министра юстиции и доклад мирового судьи Менжо, которые нам посчастливилось разыскать.

Книга V. — Федераты.

I

С приближением 14 июля федераты начали стекаться в Париж. Едва прибыв, они оказывались окружены вожаками предместий, их вели в зал на улице Сент-Оноре, перед ними произносили речи самые знаменитые якобинцы; как было им не опьянеть от собственной значимости?

Робеспьер сочинил в их честь, в самом напыщенном своём стиле, нечто вроде дифирамба, который начинался так:

«Привет защитникам свободы, привет великодушным марсельцам, подавшим знак святой федерации, которая их соединяет! Привет французам восьмидесяти трёх департаментов, достойным соперникам их мужества и гражданственности! Привет могучему, непобедимому отечеству, собирающему вокруг себя цвет своих бесчисленных детей, вооружённых для его защиты! Пусть дома наши будут открыты братьям нашим, как и сердца наши; бросимся в их объятия, и пусть нежные объятия святой дружбы возвестят тиранам, что мы не потерпим иных цепей.

Великодушные граждане... вы пришли не для того, чтобы дать пустое зрелище столице и Франции. Ваша миссия — спасти отечество. Не покидайте этих стен, не решив в сердцах ваших спасение Франции и рода человеческого. Граждане, отечество в опасности! Отечество предано! О! сражайтесь за свободу мира! Судьбы нынешнего и грядущего поколений в ваших руках — вот мера нашей мудрости и вашего мужества»[1].

В то же время, когда марсельский муниципалитет отправлял свой грозный отряд, он послал Собранию адрес, который был настоящей программой дня 10 августа. «Наследственность королевской власти, — говорилось в нём, — освящённая в пользу клятвопреступной расы, есть привилегия, ниспровергающая свободу. Нация, освободившаяся от всех прочих, не может более её терпеть. Неприкосновенность короля, который подло бежал, который не перестаёт посредством гражданского листа питать неиссякаемый источник измен и злоупотреблений и который своим отлагательным вето возносит волю одного над волей всех, есть нелепость, противная разуму и национальному интересу. Пусть исполнительная власть назначается и отрешается народом, как и прочие должностные лица!»

Когда этот адрес был прочитан в Собрании, Мартен (из Марселя), тот, кого Мирабо прозвал Справедливым, человек честнейший из всех и долго пользовавшийся в своём родном городе самой блистательной популярностью, произнёс следующий благородный протест: «Этот дерзко преступный адрес сам по себе достаточен, чтобы навсегда обесчестить марсельскую коммуну. Я обязан перед Собранием, перед самим собой и перед моими доверителями заявить, что это дело рук нескольких смутьянов, захвативших должности, а не марсельцев, которые суть добрые граждане... Вы должны перед Марселем, стонущим под властью этих смутьянов, громко выразить своё неодобрение... Я требую, чтобы подписавшие были строго наказаны». Несколько членов правой требовали декрета об обвинении против авторов подобного призыва к мятежу; но, по требованию Лакруа и Камбона, которые, однако, не осмелились оправдывать высказанные воззрения, Собрание ограничилось отсылкой этого адреса в свою чрезвычайную комиссию, приказав ей уже на следующий день доложить о результате своих совещаний.

Следующий день был 13 июля; комиссия Двенадцати была всецело занята докладом о восстановлении Петиона.

Праздник Федерации 14-го явился новым отвлечением, и о дерзком послании, которому марсельский батальон должен был месяц спустя дать новое издание, несравненно более знаменательное, больше не заговаривали.

Эта вторая федерация[2] была столь же мрачной, сколь первая — блистательной; одна вся сияла радостью и надеждой, другая была полна тревог и смут. В 1790 году сердца устремились навстречу сердцам; партии, едва обозначившиеся, забывали свои разногласия в братском объятии. В 1792 году иллюзии были уничтожены, сердца изъязвлены, души переполнены горечью и гневом. Поцелуй Ламуретта, ещё не остывший на щеках тех, кто им обменялся, с тех пор как его называли поцелуем Иуды, отрекался даже теми, кто легче всего отдался этому сентиментальному порыву.

Все официальные церемонии похожи одна на другую. Тайные мысли действующих лиц находятся в вопиющем противоречии с произносимыми ими речами; приносятся клятвы, которые, как известно, невозможно сдержать; торжественно объявляется, что эра революций только что закрылась, в тот самый момент, когда её готовятся вновь открыть; на устах — слова согласия и примирения, в глубине сердца — чувства ненависти и мести.

Собрание декретом от 12 июля установило церемониал, который надлежало соблюдать на празднике 14-го. Председатель прочёл формулу присяги, каждый депутат отвечал отдельно; затем король принёс ту присягу, которую конституция особо на него возлагала; наконец, гражданскую присягу произнёс командующий парижской национальной гвардией, и все граждане повторили общим хором эти сакраментальные слова: «Клянусь».

Король был помещён слева от председателя, без промежуточного лица. Людовик XVI был печален и покорен; когда, окружённый членами Национального собрания, он поднимался по ступеням алтаря отечества, можно было подумать, по прекрасному выражению госпожи де Сталь, что видишь жертву, добровольно идущую на заклание[3]. Все народные почести достались Петиону, подлинному королю дня. Со всех сторон слышались вопли: «Петион или смерть!»; слова эти были написаны на всех знамёнах; люди с пиками, бунтовщики из предместий носили их начертанными мелом на шляпах. Глядя на восторг, предметом которого он был, Петион мог поверить в вечность своей популярности. Год спустя, день в день, он был объявлен вне закона, и те же самые люди кричали: «Петиона — на смерть!»

II

Якобинцы хорошо понимали, что Лафайет — главное препятствие к осуществлению их замыслов. Поэтому уже на другой день после праздника Федерации и триумфального возвращения Манюэля и Петиона в ратушу они соединили все свои усилия, чтобы добиться предания генерала суду. Комиссия Двенадцати была мало расположена к этой крайней мере. Она не могла уклониться от выражения своего мнения, но решила начать столь щекотливое дело с рассмотрения теоретического вопроса: есть ли в конституции статья, запрещающая право петиций генералам и высшим агентам публичной силы? Докладчик Лемонте ответил отрицательно и предложил закон, который, постановляя на будущее, запрещал: 1) армейским генералам, главнокомандующим отрядами, крепостями и т. д. обращаться к конституционным властям с петициями, в которых рассматривались бы предметы, чуждые их военным обязанностям или их личным интересам; 2) военным, состоящим на действительной службе, и национальным гвардейцам-волонтёрам представлять петиции от коллективного имени[4].

Левая, казалось, торопилась выслушать и обсудить доклад Двенадцати; но, видя, что ей невозможно будет подвергнуть генерала Лафайета наказанию за должностное преступление и отрешению от должности, которые декрет предлагал применять к будущим нарушениям, она внезапно переменила тактику и потребовала отложить всякое обсуждение до тех пор, пока комиссия не выскажет своего мнения по частным вопросам, которые возбуждал личный шаг Лафайета.

Но прения вскоре возобновились по случаю прибытия Люкнера в Париж. Он находился там уже два дня, и декрет предписал ему: 1) отчитаться перед Собранием о приказах, полученных им от военного министра, и о тех, которые он сам отдавал с начала кампании; 2) представить состояние всего, что необходимо для обеспечения успеха будущих операций.

Маршал отвечал, что он должен сноситься лишь с королём, своим верховным начальником, и с министром, которому поручено передавать королевские приказы; что, впрочем, благоразумие предписывает ему тайну операций кампании. Но вместо того чтобы сохранить эту столь же твёрдую, сколь и достойную позицию, старый маршал явился в чрезвычайную комиссию; там он подробно объяснялся в присутствии множества депутатов и оставил записки о силах, которыми мог располагать. Из этих записок, прочитанных в публичном заседании, следовало, что Люкнер имел лишь 70 000 человек, которых мог противопоставить 200 000 австрийцев, пруссаков, гессенцев, русских, сопровождаемых многочисленными эмигрантами; что кадры линейных войск, вместо того чтобы пополняться, с каждым днём редели; что батальоны национальных гвардейцев не укомплектованы, дисциплина бессильна, наконец, что невозможно защищать границы с армией, настолько уступающей по численности армии захватчиков.

Сообщение этих сведений вызывает самые резкие упрёки. Камбон упрекает военный комитет и комиссию Двенадцати в сокрытии правды; Карно обвиняет маршала в том, что в комиссии он говорил тоном гораздо более успокоительным.

Вскоре, усиливая замешательство, приходит письмо от Дюмуре. Тот, выйдя из министерства, был отправлен под начальство Люкнера в Северную армию; он воспользовался отсутствием своего начальника, чтобы написать прямо в Собрание и сделать весьма многозначительные авансы крайней партии, в которой он своим чутьём к будущему предугадывал скорого единственного хозяина положения.

«Поскольку я не знаю, существует ли военный министр, — писал Дюмуре, — поскольку из двух армейских генералов один находится в пути к Мозелю или в Париже, а другой почти на той же дороге, поскольку я временно командую, я считаю долгом отчитаться перед вами, как и перед исполнительной властью, о положении вещей». Генерал заявлял, что ничего не понимает в операциях, продолжение которых ему поручено; что, впрочем, ему не хватает инструкций, продовольствия, денег и т. д.; наконец, он спрашивал, что ему делать перед лицом врага, гораздо более многочисленного, чем его армия.

Это письмо, естественно, становится сигналом нового волнения. Люкнера обвиняют во лжи, даже в измене; со всех сторон требуют доклада по делу, господствующему над всеми прочими, — по делу генерала Лафайета. Правые, отлично понимающие серьёзность положения, настаивают не менее левых. «Нельзя, — говорит Дюмолар, — бесконечно откладывать, накануне сражения, рассмотрение поведения генерала. Разве для победы ему не нужно всё доверие его армии?»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.